
ЕВГЕНИЙ ВОЛЬФ
ВОСТОК
18+
СОСЕДИ · КНИГА ВТОРАЯ

Евгений Вольф

Восток

«Автор»
2026

Вольф Е.

Восток / Е. Вольф — «Автор», 2026

1983 год. Станция Восток, самое холодное место на Земле. Тринадцать человек, полярная ночь и восемь месяцев без самолётов.В первую же ночь после того, как улетел последний борт, радист Глеб Ракитин слышит в эфире стук. Ровный, раз в три секунды, на всех частотах сразу. Глеб записывает его в журнал как помеху. Стук не прекращается ни днём, ни ночью, и старый буровик Тимофеич, кажется, знает, откуда он идёт.В километре от станции стоит старая деревянная вышка. Под ней в лёд уходит ствол, пробуренный девятнадцать лет назад. О нём забыли все, кроме Тимофеича. Чем длиннее полярная ночь, тем чаще Глеб смотрит в чёрные окна станции и тем меньше ему нравится то, что он там видит.Вторая книга цикла «Соседи», приквел «Отражения». Можно читать отдельно.

© Вольф Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора 6
Глава первая. Борт 7
Глава вторая. Керн 15
Глава третья. Пустота 23
Глава четвёртая. Ночь 31
Глава пятая. Голос 38
Глава шестая. Медкарта 46
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Евгений Вольф
Восток

Восток
Евгений Вольф
2026
Table of Contents

От автора

Станция Восток существует. Она стоит на ледниковом плато в глубине Антарктиды, на высоте почти трёх с половиной тысяч метров, и 21 июля 1983 года там действительно зафиксировали самую низкую температуру воздуха на Земле — минус 89,2 градуса. В апреле 1982 года на станции действительно сгорела дизельная электростанция. В том пожаре погиб человек, а его товарищи дожили до весны без света и тепла. Им, и всем, кто зимовал на Востоке до и после них, автор выражает глубокое уважение.

Всё остальное в этой книге вымышлено. Персонажи, их имена, судьбы, разговоры и поступки придуманы автором. Экипаж зимовки, описанный в романе, не имеет отношения к реальным участникам советских и российских антарктических экспедиций. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, их именами, должностями, биографиями и обстоятельствами жизни случайны.

Реальные города, станции, научные институты и предприятия упоминаются в книге только как место и время действия. Их сотрудники, решения, документы и работы, описанные в романе, придуманы автором. События, ведомства, находки и происшествия, о которых идёт речь в книге, выдуманы. Автор не ставил целью дать оценку деятельности каких-либо реальных организаций или лиц.

Взгляды и высказывания персонажей принадлежат персонажам и могут расходиться с позицией автора.

Евгений Вольф

Глава первая. Борт

Радиожурнал станции Восток. 11.02.83. 18:00 мск. Т −41,8. Ветер ЮЮЗ 3 м/с. Борт на Мирный убыл в 14:20. Состав зимовки 13 чел. Происшествий нет. Деж. Ракитин.

Ил-14 прогревал моторы уже двадцать минут. Он стоял на краю полосы, тяжёлый, на лыжах, с инеем на заклёпках, и снег под ним был истоптан в серую крупу. Рёв шёл отовсюду сразу: из-под ног, из воздуха, из собственной грудной клетки, и Глеб Ракитин чувствовал его зубами.

Он стоял чуть в стороне от остальных и держал руки в карманах каэшки. В правом кармане лежал конверт. Глеб заклеил его вчера ночью, надписал адрес — Ленинград, Васильевский остров, Седьмая линия — и с утра трижды доставал и трижды убирал обратно.

Мешок с почтой давно унесли в самолёт. Бортмеханик, рыжий, в кожаном шлеме, высунулся из двери и махал рукой: кто ещё, давайте, последний раз. Глеб смотрел на его руку и не двигался.

Начальник станции Рогов шёл вдоль неровной шеренги и считал вслух. Он касался каждого рукавицей, по плечу, коротко, как пересчитывают ящики на складе, и Глеб почему-то думал, что на этом складе он сам — ящик с подмоченной маркировкой.

— Девять. Десять. Одиннадцать.

Рогов дошёл до Глеба, тронул его плечо и пошёл дальше.

— Двенадцать. Тринадцать. — Он обернулся к самолёту и поднял руку. — Все!

Бортмеханик кивнул и захлопнул дверь.

На высоте три с половиной тысячи метров кричать было трудно. Рогов прокричал одно слово, и Глеб видел, как у него после этого заходила грудь под каэшкой, часто, мелко, как у собаки в жару. Сам Глеб дышал ртом. Во второй месяц на станции воздуха всё равно не хватало: вдыхаешь полную грудь, а внутрь заходит половина, и вторую половину приходится добирать ещё одним вдохом, сразу следом. От этого всё время хотелось зевать. Ночью сердце колотилось так, что он просыпался и лежал, прислушиваясь к нему, как к чужому.

У Кости Ершова пошла кровь носом.

Костя стоял в двух шагах от Глеба, молодой, в новой, ещё не обмятой шапке, и смотрел на самолёт с таким лицом, с каким дети смотрят на уходящий поезд. Кровь потекла у него из правой ноздри, по губе, по подбородку, и он не заметил, пока не почувствовал во рту. Тогда он засмеялся, запрокинул голову и зажал нос варежкой.

Врач Мелконян подошёл к нему сбоку, взял за затылок и наклонил голову вниз.

— Вниз, — сказал он. — Голову вниз. Всю жизнь вас учат запрокидывать, а потом кровь в желудок, и тебя рвёт на мои валенки.

— Я на ваши не буду, Арсен Ваганович, — сказал Костя сквозь варежку.

— Будешь. Все будут. Высота.

Костя стоял, согнувшись, и капли падали на снег, тёмные, круглые, и сразу схватывались по краям ледяной коркой. Снег на Востоке был сухой, как сахарный песок, и кровь на нём не расплывалась. Она лежала шариками.

Моторы взревели сильнее. Самолёт дрогнул, сдвинулся, пополз по полосе, подпрыгивая на застругах, и снежная пыль от винтов накрыла людей с головой. Глеб зажмурился. Когда открыл глаза, Ил-14 уже оторвался и шёл низко, набирая высоту медленно, тяжело, как старик поднимается по лестнице. Над станцией он сделал круг. Качнул крыльями — влево, вправо. Так прощались все экипажи, всегда, и все на земле знали, что надо помахать в ответ, и все помахали. Глеб тоже поднял руку.

Самолёт ушёл на северо-запад, к Мирному, и стал точкой, и точка пропала в белёсом небе, и звук пропал вслед за ней не сразу, ещё с минуту висел в воздухе, тонкий, на одной ноте.

Потом стало тихо, и стало слышно ДЭС.

Дизельная электростанция стояла за жилыми домиками, приземистая, в облаке собственного пара. Её гул был такой ровный и низкий, что Глеб за месяц перестал его замечать, как перестаёшь замечать собственный пульс. Теперь, без самолёта, гул вернулся. Он шёл из-под снега, из стен, из подошв.

— Ну вот, — сказал механик Гусев. Он стоял, сунув руки под мышки, и смотрел туда, где пропала точка. — Теперь до ноября только мы да дизель.

— Типун тебе, — сказал кто-то.

— А я чего? Я ничего. — Гусев повернулся и пошёл к ДЭС, широко, по-хозяйски, и на ходу постучал рукавицей по железному боку бочки с соляркой, будто проверял, на месте ли.

Люди начали расходиться. Глеб стоял. Рука в кармане лежала на конверте. Он вытащил его, посмотрел на адрес, на свой почерк, мелкий, с наклоном влево, который Лида когда-то называла почерком двоечника. Конверт был тёплый от кармана. Самолёт ушёл. Следующий придёт в ноябре, через девять месяцев, и тогда письмо будет уже совсем ненужным.

Он сложил конверт пополам и сунул обратно.

* * *

Радиорубка была самым тёплым местом на станции после бани. Глеб считал это справедливым.

Она занимала угол главного домика, две комнаты: в первой стояли приёмники, передатчик в высоком сером шкафу и стол с ключом, во второй — телетайп, полка с журналами и топчан, на котором радист мог поспать между сроками, если сроки позволяли. Сроки позволяли редко. Четыре раза в сутки Восток передавал в Мирный метеосводку, столбики цифр, зашифрованные по таблице: давление, температура, ветер, облачность. Дважды в сутки была служебная связь. По пятницам — частные радиограммы, короткие, по двадцать слов, со строгими лимитами, и вся станция в пятницу вечером толпилась у двери радиорубки с бумажками в руках, как у кассы.

Телетайп в хорошую погоду гнал сводки сам, но хорошей погоды в эфире здесь почти не бывало. Восток стоял рядом с южным геомагнитным полюсом, и эфир над ним кипел. Магнитные бури приходили по два раза в неделю, и тогда телетайп печатал вместо цифр сплошную тарабарщину, и Глеб садился за ключ и гнал сводку руками, точка-тире, как деды гнали в войну. Он это любил. Руками было надёжнее.

На стене над столом висели часы, большие, круглые, в чёрном корпусе. Под часами кнопкой был приколот листок с расписанием сроков, написанным рукой прошлого радиста, и на обороте листка, если отогнуть угол, той же рукой: «Не бери у Арсена больше, чем дают. Обратно не отдадут». Глеб нашёл это в первый же день и оставил висеть.

Из окна радиорубки был виден столб-указатель посреди станции, с прибитыми дощечками, на которых краской было выведено: до Мирного — тысяча четыреста с лишним километров, до Москвы — пятнадцать с половиной тысяч, до Ленинграда — почти столько же. Дощечки обросли инеем так, что цифры едва читались. Глеб видел этот столб каждое утро, когда садился за ключ, и каждое утро считал про себя: пятнадцать тысяч. Самолётом сутки, если с пересадками. Отсюда — девять месяцев.

Он сел за стол и открыл журнал. Записал время ухода борта, температуру, ветер. Написал «Происшествий нет». Расписался.

Почерк был ровный. Руки сегодня почти не дрожали, и он был этому рад и злился, что рад.

В нижнем ящике стола, под стопкой бланков, лежала плоская фляжка из нержавейки. Утром её не было. Утром фляжка была в медчасти, у Мелконяна, в шкафу с медицинским спиртом, и Мелконян налил её доверху и отдал Глебу вместе с бутылочкой для протирки контактов, и посмотрел на него поверх очков так, что объяснять ничего было не надо.

— Контакты, — сказал Мелконян. — Только контакты, Глеб.

— Контакты, Арсен Ваганович.

— Я буду знать, сколько у тебя контактов на станции. Я их посчитаю.

Глеб достал фляжку, подержал в руке. Убрал обратно. Рано.

Первую зимовку он отработал на Мирном. Год на побережье, у моря, где был ветер, пингвины, больше сотни человек, кино по субботам и связь с Большой землёй через две станции. Там он и узнал, как это бывает. В апреле, ночью, он сидел на вахте, когда Восток вышел на внеочередную связь. Радист Востока передавал ровно, не сбиваясь, и Глеб принимал, и рука записывала знаки раньше, чем голова успевала их понять. Пожар. ДЭС. Один погибший. Он принял радиограмму, перечитал три раза и пошёл будить начальника. Шёл по коридору с бланком в руке и всё думал о том, что там, на Востоке, радист сейчас сидит и ждёт ответа, а у него, может быть, уже мёрзнут пальцы на ключе.

Потом была зима, и Восток жил без электростанции, и каждую ночь выходил на связь, и Глеб каждую ночь его слушал. Радист Востока передавал медленнее, чем раньше. Глеб знал почему: в рубке у него было минус тридцать, и пальцы не гнулись.

В сентябре на Мирный пришла частная радиограмма на имя Ракитина. Глеб сам её принял. Девять слов. Он их запомнил сразу и потом уже не мог забыть, даже когда очень хотел.

«Глеб подала на развод тчк так больше нельзя тчк прости тчк Лида».

Он ответил одним словом: «Понял». Слова стоили денег.

А когда в декабре на Мирном формировали состав на Восток и кто-то из радистов в последний момент слёг с аппендицитом, Глеб написал рапорт сам, в тот же вечер. Начальник Мирного прочитал, поднял на него глаза и спросил, понимает ли он, что такое Восток. Глеб сказал, что понимает. Начальник спросил: а дома как? Глеб сказал, что дома никак. Начальник подписал.

Квартира на Седьмой линии, две комнаты, высокий потолок, лепнина, которую Лида красила сама, стоя на стремянке, с платком на голове. Он представлял, как вернётся туда в ноябре, откроет дверь своим ключом и войдёт в тишину. Как будет стоять в коридоре, не снимая куртки, и слушать, как у соседей за стеной играет радио. Лучше было сюда.

* * *

Ужинали в столовой, в шесть, все вместе. Так решил Рогов в первый же вечер, и никто не спорил: на Востоке люди, которые долго не видят друг друга, начинали видеть друг друга слишком хорошо, и Рогов хотел, чтобы видели каждый день, понемногу, за едой.

Длинный стол, клеёнка в синюю клетку, протёртая на углах до белой основы. Лампы под потолком. На стене — карта Антарктиды, вымпелы прошлых экспедиций, полка с книгами, которые за двадцать пять лет станции прочитали все, кто здесь жил, по многу раз. В углу стоял кинопроектор под чехлом. Фильмов на зиму было пять. Глеб знал список: два из пяти он смотрел на Мирном по три раза.

Повар Дорн выходил из камбуза с кастрюлей, большой, мятой, в разводах накипи, и сам разливал. Михаил Сергеевич Дорн был ворчлив, носил под фартуком тельняшку и не признавал никаких графиков дежурств по кухне. На кухне он был один. Каждому он ставил тарелку отдельно, двумя руками.

Глеб ел борщ и слушал. Говорить ему было трудно: каждая фраза отнимала дыхание, и за столом говорили в основном те, кто зимовал здесь не впервые и привык. Гусев рассказывал про новую ДЭС, про три агрегата, про то, что запас солярки на этот год сделан с излишком и что тушить её, если что, есть чем. Он говорил это весело, а смотрел в тарелку. Все знали, о чём он не договаривает. Год назад, в апреле, ДЭС на этой самой станции сгорела за пятнадцать минут.

— А огнетушители я сам проверял, — сказал Гусев. — Каждый. На них теперь бирки стоят. Мои.

— Гусев у нас пожарник, — сказал Рябов, механик-водитель.

— Гусев у вас дизелист, — сказал Гусев. — А пожарником тут будет каждый, кто хочет до ноября дожить.

Никто не засмеялся. Рябов кивнул и полез ложкой в борщ.

Парторг и электрик Лапин, молодой, аккуратный, с пробором, после ужина постучал вилкой по стакану и сказал несколько слов о том, что им выпала честь, что двадцать восьмая экспедиция продолжает дело, что Восток — это передний край советской науки, и что от каждого из них ждут дисциплины и сознательности. Говорил он хорошо, гладко, видно было, что готовился. Глеб посмотрел на Рогова. Рогов сидел во главе стола, слушал, кивал. Лицо у него было тяжёлое, серое, с глубокими складками от носа к углам рта.

Тимофеич не слушал. Старший буровик Пётр Лукин, которого вся станция с первого дня звала только по отчеству, сидел у края стола, ссутулившись, и ел медленно, набирая по полложки. Руки у него были узловатые, тёмные, с распухшими костяшками, похожие на корни, которые выкапывают весной из-под снега. Ему было за сорок, а выглядел он на все шестьдесят. Говорили, что он бурил здесь ещё совсем молодым и ходил с поездами из Мирного в начале шестидесятых, когда станция была пять домиков и вышка. Сам он об этом не рассказывал.

Рядом с ним ел второй буровик, Шульга. Молчун, лет тридцати пяти, с плоским обветренным лицом. Он ел быстро, не поднимая головы, и, доев, встал первым.

Тимофеич посмотрел на него. Шульга кивнул. Тимофеич отодвинул тарелку и тоже встал.

— На вторую? — спросил Рогов, не поворачиваясь.

— На вторую, Анатолий Фёдорович.

— Ну, с богом.

Тимофеич и Шульга вышли. Глеб проводил их глазами. Официальная буровая стояла в двухстах метрах от станции, под навесом, с лебёдкой и вышкой, и Глеб бывал там, когда носил буровикам сводку погоды. «Второй» на станции называли что-то другое. Глеб уже слышал это слово, раза три, и каждый раз им пользовались только Тимофеич, Шульга и Рогов. Спрашивать он не стал.

Метеоролог Костя Ершов, с ватным тампоном в ноздре, сидел напротив и писал письмо. Прямо за столом, на тетрадном листке, придерживая лист локтем, чтобы не съезжал по клеёнке. Писал быстро, крупно, наклонив голову, и шевелил губами.

— Невесте? — спросил Глеб.

Костя поднял глаза и покраснел.

— Тане. Она в Калуге. Я ей обещал каждый день.

— Каждый день, — повторил Глеб.

— Ну. Я их буду в пачку складывать. А в ноябре все разом. Двести семьдесят писем. — Костя улыбнулся. — Представляете, ей их почтальон принесёт? Мешком?

Глеб представил. Почтальон, мешок, Калуга. Девушка открывает дверь.

— Представляю, — сказал он.

Аэролог Зотов, рыжеватый, с бородкой, щёлкнул фотоаппаратом с другого конца стола. Сверкнула вспышка. Костя зажмурился.

— Для истории, — сказал Зотов. — Метеоролог Ершов пишет невесте. Двадцать восьмая САЭ, февраль, станция Восток. Подпишу на обороте.

Гляциолог Савельев и геофизик Пак сидели рядом и спорили о чём-то вполголоса, рисуя пальцами на клеёнке. Савельев — широкий, громкий, в свитере с оленями. Пак — худой, тихий, в тяжёлых очках в чёрной роговой оправе, родом откуда-то с Сахалина. Глеб слышал обрывки: «сейсмика», «отражённая волна», «да не может там быть пустоты, Игорь, там лёд до самого ложа». Пак пожимал плечами и молча рисовал на клеёнке что-то похожее на чашу.

Лапин, договорив речь, сел и тоже достал тетрадку, только у него была общая, в клеёнке, и писал он в неё что-то аккуратно, разлиновав поля. План работы, решил Глеб. Или протокол.

Дорн выходил из камбуза и забирал тарелки. У каждого он останавливался и спрашивал одно и то же.

— Поел?

— Поел, Михал Сергеич.

Дорн смотрел в тарелку, проверяя, и кивал.

У Рябова в тарелке оставалась половина. Рябов прикрыл её ладонью и подмигнул Косте.

— Ещё нет, Михал Сергеич. Растягиваю удовольствие.

— Растягивай, — сказал Дорн. — Я ещё раз подойду.

— А если опять не поем?

Дорн посмотрел на него сверху вниз, долго.

— Тогда, Рябов, — сказал он, — я тебе в тягач жрать принесу. В кабину. И буду сидеть рядом, пока не поешь.

Все засмеялись. Рябов поднял руки, сдаваясь. Сашка Рябов был моложе Глеба лет на восемь, балагур, с вечно ободранными о гусеницы костяшками, и смешил станцию с первого дня, потому что, как он сам говорил, на Востоке воздуха мало, а смех кислорода не требует. Глебу он нравился.

Дорн дошёл до Глеба. Глеб съел половину. Дорн посмотрел в тарелку, потом на Глеба.

— Не поел.

— Аппетита нет. Высота.

— Высота у всех. — Дорн поставил тарелку обратно. — Ешь, Ракитин. Здесь кто не ест, тот до августа не дотянет. Я видел.

Глеб посмотрел на него. Дорн стоял, держа в одной руке стопку чужих тарелок, а другой опираясь о стол, и ждал. Глеб взял ложку. Дорн постоял, убедился и пошёл дальше.

* * *

В девять вечера был служебный срок. Глеб отработал его быстро: Мирный слышался хорошо, бурь не было, радист Мирного, которого Глеб знал по прошлому году, отстучал в конце «73 Глеб как высота», и Глеб ответил «дышу через раз 73». Записал всё в журнал и откинулся на стуле.

В дверь постучали.

Три раза, костяшками пальцев. Негромко, с одинаковыми паузами, будто человек за дверью отсчитывал про себя. Тук. Тук. Тук.

— Да.

Вошёл Рогов. Он вошёл боком, как входят в чужую кухню, и остановился у двери. В руке у него были два листка.

— Не помешал?

— Срок закончился.

— Знаю. Я ждал. — Рогов подошёл к столу и положил листки перед Глебом. — Это служебная, в институт, завтра утром. А это моя, частная, жене. Со следующими пятничными.

Глеб взял листки. Почерк у Рогова был крупный, прямой, учительский. В служебной было: «Зимовку принял тчк состав тринадцать человек тчк станция работает штатно тчк Рогов». В частной было: «Галя всё хорошо тчк береги ноги тчк Толя».

— Передам.

Рогов не уходил. Он стоял у стола и смотрел на передатчик, на ключ, на часы на стене, на нижний ящик стола. Ящик был закрыт.

— Арсен мне сказал, — сказал Рогов.

Глеб ничего не ответил.

— Ты меня послушай, Ракитин. — Рогов говорил негромко, ровно, без нажима. — Мне здесь радист нужен живой. И чтобы руки работали. Ты у меня один. Второго мне до ноября

никто не пришлёт. Если с тобой что, у меня станция немая. Тринадцать человек на краю света, и никто про них ничего не знает. Понимаешь?

— Понимаю, Анатолий Фёдорович.

— Я тебе ничего не запрещаю. Ты взрослый человек. Я тебя прошу.

Он помолчал.

— Ты в прошлом году на Мирном сидел.

— Сидел.

— Ту зиму слушал? Нашу?

— Слушал.

Рогов кивнул.

— А кроме пожара? Ничего странного с Востока в эфире не было? Весной, летом?

Глеб посмотрел на него.

— В смысле?

— Ну, мало ли. — Рогов пожал плечами. — Помехи какие-нибудь. Не наши сигналы. Ты же радист, ты слышишь, что обычно и что нет.

— Бури были, — сказал Глеб. — Как всегда.

— Как всегда. — Рогов кивнул ещё раз, будто ответ его устроил, и повернулся к двери. — Ладно. Спокойной ночи, Глеб.

Он вышел. Дверь закрылась с мягким щелчком, и Глеб ещё некоторое время сидел и смотрел на неё. Рогов ни разу до этого не звал его по имени.

* * *

Ночью он не спал. На Востоке почти никто не спал по-настоящему первые месяцы: высота не давала. Ложишься, закрываешь глаза, и сердце начинает колотиться, и ты лежишь и считаешь удары, а на сотом сбиваешься и начинаешь снова. Мелконян давал снотворное, но Глеб снотворное не любил. С него утром во рту была вата.

Он сидел в радиорубке и писал письмо, которое не собирался отправлять.

«Лида. Сегодня ушёл последний борт. Я стоял с письмом в кармане и не отдал. Не знаю, зачем пишу второе. Наверное, затем, что тут больше некому. Здесь тринадцать человек, и каждый вечер повар спрашивает у каждого, поел ли он. Ты бы с ним поладила. Ты тоже всегда спрашивала. Я тогда злился, а теперь…»

Дальше он не знал, что писать. Посмотрел на лист, на свой почерк двоечника. Сложил лист вдвое и сунул в ящик стола, к фляжке.

Фляжку достал.

Он отмерил два глотка — ровно два, как отмерял себе всегда в первую зимовку, — и спирт обжёг горло, и жар пошёл вниз, в живот, и через минуту сердце, которое весь вечер било как попало, стало биться ровнее. Глеб посидел, слушая это. Подумал о третьем глотке. Посмотрел на фляжку, завинтил её и убрал в ящик.

Он надел каэшку, унты, шапку и вышел наружу.

Было без четверти два ночи, и было светло. Солнце висело над горизонтом, низкое, красноватое, огромное, и не собиралось садиться. Через неделю-другую оно начнёт нырять, сначала ненадолго, потом всё глубже, а в конце апреля уйдёт совсем, на четыре месяца. Пока ещё стоял день, круглосуточный, усталый, и свет от низкого солнца был длинным и косым, и снег в этом свете был розовым, а тени от домиков — синими и бесконечными, через всю станцию.

Глеб вдохнул, и мороз схватил его за горло. Минус пятьдесят с лишним. Воздух был сухой, режущий и не пах ничем. Совсем ничем. Глеб давно заметил это: на Востоке не было запахов. Ни снега, ни ветра, ни земли, которой тут не было на три километра вниз. Пахло только тем, что принесли люди: соляркой, борщом, табаком. Шаг в сторону от домиков — и мир переставал пахнуть.

Тишина стояла такая, что он слышал, как потрескивает иней на собственных ресницах. Только ДЭС гудела за спиной.

Он постоял, глядя на столб-указатель. Пятнадцать с половиной тысяч.

Потом увидел их.

Далеко, за официальной буровой, в розовом косом свете шли двое. Маленькие тёмные фигуры, одна повыше, другая пониже и сутулая. Они тащили за собой сани, нарты с каким-то грузом, укрытым брезентом, и шли от станции, вглубь, в белое, туда, где Глеб ничего не знал. Шли медленно, наклонившись вперёд, как бурлаки. Через сотню метров они поднялись на небольшой подъём, и Глеб увидел, куда они идут. На горизонте, в километре, может, чуть больше, из снега торчала ещё одна вышка. Старая, ниже официальной, тёмная, перекошенная, как забор на заброшенной даче. Глеб видел её и раньше, с самолёта, когда прилетал, и думал, что это брошенная, с давних времён.

Тимофеич и Шульга шли к ней. Второй раз за ночь: после ужина они ушли налегке, а теперь тащили груз.

Он смотрел, пока они не пропали за подъёмом, потом ещё немного. Холод начал пробирать сквозь каэшку. Он вернулся в радиорубку.

* * *

По ночам, когда не было сроков, он слушал эфир.

Это была привычка ещё с Мирного. Надеваешь наушники, крутишь верньер медленно, по миллиметру, и мир идёт мимо тебя полосами: станции, морзянка с кораблей, далёкий «Маяк» с новостями, которые доходят до Антарктиды с опозданием, как свет от звёзд. «Голос Америки», сквозь глушилки. Японцы. Какая-то музыка, далёкая, неизвестно откуда. Между станциями — шум. Глеб любил и шум. Шум над Востоком был особенный, живой, он шёл волнами, поднимался и опадал, потрескивал, свистел, и в нём слышно было, как над полюсом бьётся солнечный ветер о магнитное поле Земли. Шёл свет, которого днём не видно. Полярные сияния здесь начинались в марте, а слышно их было уже сейчас.

Он надел наушники и начал крутить.

Шум. «Маяк», едва слышно, что-то про пленум. Шум. Морзянка — судно, далеко, с координатами. Шум. Свист, нарастающий и падающий, как от мокрого пальца по краю стакана.

И потом, сквозь шум, — стук.

Он не сразу его выделил. Сначала это было просто ещё одно потрескивание среди тысячи потрескиваний. Потом Глеб заметил, что оно повторяется. Сухой короткий щелчок, отчётливый, как будто кто-то стучит ногтем по микрофону. Пауза. Щелчок. Пауза. Щелчок.

Ровно.

Он перестал крутить верньер. Сидел и слушал.

Щелчок. Пауза. Щелчок.

Ритм казался искусственным. Как метроном. Как маятник. Глеб посмотрел на часы над столом, на секундную стрелку, и стал считать.

Щелчок — стрелка на двенадцати. Щелчок — стрелка на трёх. Щелчок — на шести. Щелчок — на девяти.

Три секунды. Ровно три.

Он покрутил верньер на соседнюю частоту. Шум, другой, пониже. И сквозь него — щелчок. Пауза. Щелчок. Покрутил дальше, на другой диапазон, в сторону от всех станций, туда, где не было никого. Щелчок. Пауза. Щелчок.

На всех частотах. Одинаково. Три секунды.

Глеб снял один наушник, послушал рубку. Гул ДЭС за стеной. Тиканье часов. Своё дыхание, частое, неглубокое. Надел наушник обратно. Щелчок.

Он знал, что бывают помехи на всех диапазонах сразу. От собственной аппаратуры, от плохого контакта, от сварки, если где-то варят. Он встал, прошёл вдоль шкафа, постучал

по нему, подёргал разъёмы, проверил заземление. Всё держалось крепко. Сварку на станции ночью никто не вёл. ДЭС давала помеху, он её знал, — низкое гудение на одной частоте. Это было что-то другое.

Он сел обратно. Надел наушники.

Щелчок. Пауза. Щелчок.

Он слушал минут десять. За это время ритм не сбился ни разу. Ни разу щелчок не пришёл раньше или позже. Шум вокруг него поднимался и опадал, свистел, трещал, жил, а этот щелчок стоял внутри шума неподвижно, как столб посреди реки.

Глеб открыл журнал. Взял ручку. Рука немного дрожала, и он подождал, пока перестанет.

«02:40. На всех диапазонах ритмичная помеха, период 3 с, природа не установлена. Аппаратура исправна. Деж. Ракитин».

Он посмотрел на запись. Подумал, не зачеркнуть ли «природа не установлена». Решил, что не надо. Утром, когда Мирный выйдет на связь, он спросит, слышат ли они. Если слышат, значит, что-то в ионосфере, солнце, полюс. Объяснят. Если не слышат, значит, у него в аппаратуре, и он найдёт где. Утром.

Он снял наушники и положил их на стол.

В радиорубке было тихо. За стеной гудела ДЭС, над столом тикали часы. За окном стоял незаходящий розовый день, и столб-указатель отбрасывал через всю станцию длинную синюю тень.

Секундная стрелка дошла до двенадцати.

В наушниках, лежащих на столе, далеко и тонко, едва слышно, щёлкнуло.

Стрелка дошла до трёх.

Щёлкнуло ещё раз.

Глава вторая. Керн

Радиожурнал станции Восток. 12.02.83. 06:00 мск. Т −52,1. Ветер ЮЗ 2 м/с. По запросу Мирный помеху с периодом 3 с не наблюдает. Аппаратура проверена, контакты зачищены. Деж. Ракитин.

Утром Мирный ничего не слышал.

Глеб спросил на первом же сроке, сразу после сводки, коротко: «QRM ритмич 3 сек все диап у вас есть». Ключ под пальцами был холодный, в рубке за ночь выстыло, и он отстучал вопрос медленнее, чем хотел. На Мирном сидел Юрка Сомов, с которым Глеб прошлую зиму делил одну рубку на двоих и один чайник. Юрка ответил не сразу. Глеб представил, как он там крутит верньер, прижав наушник ладонью.

«QRM нет чисто тчк у тебя контакты Глеб».

«Понял», — отстучал Глеб.

Он весь день искал контакты. Снял заднюю стенку передатчика, проверил лампы, одну, подозрительно тусклую, заменил из ЗИПа. Перебрал разъёмы антенного ввода, протёр каждый спиртом из бутылочки, которую дал Мелконян, и протирал честно, тщательно, и бутылочка опустела наполовину. Подёргал заземление. Вышел наружу, к мачтам, обошёл обе по кругу, хотя что можно было увидеть снаружи на антенне, он сам не знал. Растяжки звенели на морозе тонко, как струны.

Ночью он надел наушники и слушал до четырёх. Стука не было. Шум, свист, далёкий «Маяк», японцы, всё как всегда. Он крутил верньер от края до края дважды. Ничего.

На вторую ночь тоже ничего. На третью тоже.

На четвёртую, в начале третьего, когда он уже снял один наушник и думал о чайнике, стук вернулся. Щелчок. Пауза. Щелчок. Глеб посмотрел на секундную стрелку. Три секунды. Он слушал двадцать две минуты, глядя на часы, и на двадцать второй минуте стук оборвался на середине паузы, будто кто-то снял палец с ключа.

Он записал это в журнал так же, как в первый раз. Время, период, длительность. Природа не установлена.

Журнал каждое утро читал Рогов. Так было заведено на всех станциях: начальник смотрит записи за сутки и ставит подпись. Рогов приходил в рубку в восемь, после завтрака, садился на край топчана с журналом на коленях, читал, водя пальцем по строчкам, и расписывался внизу страницы крупно и прямо, будто ставил забор.

В то утро он читал дольше обычного. Палец остановился на ночной записи и стоял на ней.

— Это опять твоё? — спросил Рогов.

— Опять. Двадцать две минуты.

Рогов достал из нагрудного кармана ручку и аккуратно, не нажимая, обвёл слова «природа не установлена» тонкой линией. Получился овал.

— Это ты пиши, — сказал он. — Время, сколько длилось. Это пиши. А вот это не надо.

— Почему?

— Потому что журнал в институт уходит. В конце зимовки. Его там читают люди, которые здесь не были. — Рогов расписался под записью. — Прочтут «природа не установлена» и начнут думать, что у нас радист природу устанавливает. А тебе ещё работать.

Он закрыл журнал и положил на стол.

— А вы знаете, какая у неё природа?

Рогов встал, одёрнул свитер.

— Я знаю, что у нас полюс рядом, — сказал он. — Магнитный. Тут чего только в эфире не бывает. В шестидесятых, рассказывали, радисты песни слышали. Хор. Целый хор, на пустой частоте. — Он постоял. — Помеху пиши как помеху, Глеб. И всё.

Он ушёл. Глеб открыл журнал и долго смотрел на запись. Овал был тонкий, почти незаметный. Три слова Рогов оставил на месте и только обвёл.

* * *

В конце февраля солнце первый раз зашло.

Глеб видел это из окна рубки. Оно с вечера ходило низко, касаясь горизонта нижним краем, багровое, сплющенное, словно его придавило сверху. Потом коснулось и начало уходить, неохотно, и снег на горизонте сделался сначала красным, потом лиловым, потом серым. Небо над тем местом, где оно ушло, светилось ещё минут сорок, и солнце снова полезло вверх.

С каждым днём ночь удлинялась. К середине марта она шла уже часов по десять, и в эти десять часов станция становилась другой. Домики светились окнами, жёлтыми, тёплыми, единственными на сотни километров. Над ДЭС стоял столб пара, подсвеченный снизу прожектором. Снег под ногами из розового стал синим, а потом почти чёрным, и скрипел по-другому, выше, пронзительнее. Мороз дошёл до минус шестидесяти и держался.

Глеб впервые за несколько месяцев увидел своё отражение в окне.

Он сидел в рубке ночью, за ключом, и поднял голову, и в окне напротив был человек. Окно стало тёмным, и стекло, которое с самого его приезда показывало ему только снег и столб-указатель, теперь показывало его самого. Небритого. С мешками под глазами. С отросшими волосами, торчащими из-под шапки. Свет от настольной лампы падал на лицо снизу, и от этого оно казалось чужим, старше, жёстче.

Глеб смотрел на него. Человек в окне смотрел на Глеба.

Он потрогал щетину. Человек в окне потрогал щетину. Глеб вздохнул, встал и задёрнул занавеску, синюю, выцветшую, с узором из якорей, которую кто-то из прошлых радистов привёз, видимо, с флота. Утром побрился.

* * *

Официальная буровая стояла в двухстах метрах от станции, под длинным дощатым навесом, обитым снаружи листами жести. Внутри было минус тридцать, тепло по местным меркам, и пахло соляркой, горячим маслом и мокрой шерстью. Лебёдка гудела. Над скважиной висел снаряд, длинная труба, и с него капало на пол что-то тёмное и маслянистое.

Глеб носил сюда сводку погоды два раза в день. Буровикам нужен был ветер: при сильном ветре вышка ходила, и снаряд мог заклинить. Но ветер на Востоке почти всегда был слабый, и Глеб подозревал, что сводку ему велели носить просто для того, чтобы он ходил. Мелконян так и сказал однажды: «Ходи, Глеб. Радисты у меня все сидячие. Сидячие на Востоке долго не живут».

Савельев встретил его у входа. Гляциолог был в том же свитере с оленями, поверх которого он натянул ватник, а поверх ватника брезентовый фартук, весь в разводах. В руках у него был обрезок керна, сантиметров тридцать, цилиндр мутного голубоватого льда.

— Ракитин! — Савельев обрадовался ему, как радуются в гостях человеку, которому можно показать альбом с фотографиями. — Иди сюда. Смотри.

Он поднёс керн к лампе. Лёд был непрозрачный. Внутри него, ровными тонкими слоями, шли полосы, одна чуть светлее, другая чуть темнее, как годовые кольца на срезе дерева. И в каждом слое — пузырьки. Мелкие, круглые, как бисер, рассыпанный по стеклу.

— Знаешь, сколько ему?

Глеб покачал головой.

— Сто сорок тысяч лет. Плюс-минус. — Савельев сказал это так, будто сам его заморозил. — Тебе если по-простому, каждый слой — как год. Снег выпал, слежался, сверху новый. И так сто сорок тысяч раз. А пузырьки — это воздух. Тот самый. Каким тогда дышали.

— Кто дышал?

— Да кто угодно. В Европе мамонты ходили. Люди в пещерах сидели. — Савельев перевернул керн в руках, любуясь. — А у нас тут лежит. Сто сорок тысяч лет никто не трогал.

Он отломил от торца маленький кусочек, с ноготь, и бросил его в эмалированную кружку с водой, стоявшую на ящике. Лёд закачался на воде и начал трещать. Мелко, часто, сухо, как крупа на горячей сковородке.

— Слышишь? — Савельев поднял палец. — Пузырьки лопаются. Давление выходит. Это древний воздух на волю идёт.

Глеб наклонился над кружкой. Лёд таял и трещал, и от воды поднимался едва заметный дымок. Он вдохнул. Ничем не пахло.

— Ничем не пахнет, — сказал он.

— А ты думал, мамонтом будет пахнуть? — Савельев засмеялся. — Ничем. Чистый. Чище нашего. Мы тут, знаешь, за сто лет такого надышали.

Из-за лебёдки вышел Пак. Тихий, в тяжёлых роговых очках, с планшетом под мышкой. Он кивнул Глебу и посмотрел на кружку.

— Опять фокусы показываешь, — сказал он Савельеву.

— Это наука, Игорь. — Савельев повернулся к Глебу. — Вот Игорь у нас думает, что под нами вода.

— Я записываю, — сказал Пак.

— Он записывает! — Савельев махнул керном. — Взрывает тут заряды по снегу, слушает эхо, а потом рисует. Чашу рисует. Под нами, видишь ли, на четыре километра вниз, чаша с водой. Озеро.

Пак пожал плечами.

— Отражённая волна приходит так, как от воды, — сказал он. — Скала даёт другую. Это Капица ещё увидел. Андрей Петрович, в шестидесятые. Он по этим записям статью писал.

— Видел, — сказал Савельев. — И что? Вода подо льдом, на четырёх километрах. Откуда ей там быть? Там минус пятьдесят.

— Там давление, — сказал Пак. — И снизу тепло от земли. И лёд сверху, как одеяло. Он хорошо держит тепло. Лучше, чем кажется.

— Одеяло, — Савельев фыркнул. — Ракитин, ты слышишь? Одеяло. Ладно. Вот дойдём до дна, тогда посмотрим.

— Мы не дойдём, — сказал Пак. — Нам два километра разрешили.

Он сказал это спокойно, без обиды, и посмотрел куда-то в сторону, за стену навеса. Туда, где за подъёмом, в километре, стояла старая вышка. Глеб проследил его взгляд. Отсюда, изнутри, её видно не было.

Лёд в кружке дотрещал и затих. Савельев выплеснул воду на пол, где она тут же схватилась тонкой корочкой.

* * *

Зотов выпускал зонд каждый день в одно и то же время, в одиннадцать по местному. Это было единственное событие на станции, которое происходило по-настоящему регулярно, и на него, если не было работы, выходили смотреть.

Зонд готовили в маленьком тёплом домике аэрологов, похожем изнутри на химическую лабораторию. Зотов наполнял водородом белую резиновую оболочку, большую, метра два, и она раздувалась, тугая, бледная, покачивалась под потолком, как огромное яйцо. К ней на длинной бечёвке крепилась коробочка с приборами, лёгкая, картонная, с антенной. Коробочка будет передавать вниз температуру, давление, влажность, пока шар поднимается, и Зотов будет записывать, а потом, на высоте километров тридцати, шар лопнет, и коробочка упадёт куда-то в снег, за сотни километров, и её никто никогда не найдёт.

— Их там уже, наверное, тысячи лежит, — сказал Костя Ершов. Он помогал, держал коробочку, пока Зотов возился с узлом. — За двадцать пять лет. Каждый день по одной. Представляете? Где-то там, в снегу, целое кладбище.

— Сам ты кладбище, — сказал Зотов. — Отпускай.

Они вышли. Костя нёс коробочку перед собой на вытянутых руках, бережно, как несут торт. Зотов шёл следом, держа шар за горловину. Шар рвался вверх. На улице было минус шестьдесят два, солнце стояло низко, и ветра почти не было.

— Три, — сказал Зотов. — Два. Один.

Он отпустил. Шар пошёл вверх, сначала медленно, потом быстрее, и коробочка дёрнулась на бечёвке и потянулась за ним. Белое пятно поднималось в лиловое небо, уменьшаясь, раскачиваясь. Костя стоял, задрав голову, с открытым ртом, и смотрел. Изо рта у него шёл пар, густой, белый, и тут же оседал инеем на воротнике.

— Красиво, — сказал он.

— Работа, — сказал Зотов. Но тоже смотрел.

Потом шар стал точкой, как самолёт в день отлёта, и пропал. Зотов ушёл в домик, к своим приборам. Костя остался стоять.

— Я Тане про это напишу, — сказал он Глебу. — Что мы каждый день отпускаем шарик. Как на демонстрации. Она будет смеяться.

— Сколько ты ей уже написал?

— Тридцать четыре. — Костя ответил сразу, не задумываясь, видно было, что считал. — Почти каждый день. Когда устаю, пропускаю.

— И что ты пишешь? Каждый день?

Костя пожал плечами.

— Всё. Что ели. Кто что сказал. Как Рябов вчера Гусеву в валенок снег насыпал. Как вы утром бреетесь, а потом весь день трогаете подбородок. — Он улыбнулся. — Я и про вас пишу. Вы не против?

Глеб помолчал.

— Не против.

— Я ей пишу, что у нас радист грустный, но хороший.

— Грустный.

— Ну, вы же грустный, Глеб Николаевич. — Костя сказал это просто, без всякой задней мысли, как говорят, что на улице холодно. — Но хороший. Это видно.

Он развернулся и пошёл к своему домику, метеорологическому, где у него в тумбочке лежала пачка из тридцати четырёх конвертов, перетянутая аптечной резинкой. Глеб посмотрел ему в спину, потом туда, где пропал шар.

У домика аэрологов Зотов вышел на крыльцо с фотоаппаратом, без шапки, в одном свитере, и щёлкнул затвором, наведя объектив на станцию. Щёлкнул ещё раз и заметил Глеба.

— Свет хороший, — объяснил он. — Солнце низкое. Через месяц будет ночь, я буду снимать с длинной выдержкой. Станцию ночью. Окна, пар, звёзды. — Он потёр уши ладонью, белые уже, и поморщился. — Знаешь, что самое интересное ночью снимать? Стёкла. Окна изнутри. Когда снаружи темно, а внутри свет. Там всё двоится. Человек и его отражение. Иногда на плёнке выходит так, что не поймёшь, где человек, а где отражение.

— И зачем это снимать?

— Для истории, — сказал Зотов и ушёл в дом.

* * *

Баня на Востоке топилась по субботам и была единственным местом, где человек мог согреться весь, целиком, с головы до пяток. В остальное время где-нибудь всегда мёрзло: ноги в рубке, спина в столовой, руки на улице. В бане не мёрзло ничего. Мужики сидели на полке по трое, по четверо и молчали с таким наслаждением, с каким дома не разговаривали.

В ту субботу Глеб попал в баню вместе с Тимофеичем и Шульгой. Так вышло: пришёл позже всех, когда остальные уже ушли, а буровики, как всегда, явились последними, после смены.

Шульга разделся молча и полез на полок. Глеб увидел его руки. Пальцы на обеих были красные, распухшие, с белыми пятнами на подушечках и на костяшках, а кожа на тыльной стороне ладоней шелушилась, сходила лохмотьями. Обморожение, старое, не залеченное и снова обмороженное поверх. Шульга сел, положил руки на колени, ладонями вверх, и закрыл глаза. Пар его не беспокоил.

— Где это ты так? — спросил Глеб.

Шульга открыл один глаз, посмотрел на него и закрыл обратно.

— На работе, — сказал он.

Больше он за весь вечер не сказал ни слова.

Тимофеич сидел внизу, на лавке, растирал себе плечи и смотрел на печку. Тело у него было худое, жилистое, с впалым животом, и по рёбрам с левой стороны шёл длинный неровный шрам, старый, белый, похожий на трещину во льду. Глеб старался на шрам не смотреть.

— Это с шестьдесят четвёртого, — сказал Тимофеич, не поворачиваясь. — Трос лопнул. Хлестнуло. Я после этого в Мирном полгода лежал.

— Здесь лопнул?

— Здесь.

Тимофеич плеснул на камни из ковша. Пар ударил вверх, белый, плотный, и Глеб на секунду перестал видеть всё, кроме собственных колен. Дышать стало ещё труднее, и он открыл рот, хватая горячий влажный воздух.

— Ты, Ракитин, по ночам слушаешь, — сказал Тимофеич из пара. Он не спрашивал.

— Слушаю.

— Я вижу, у тебя свет до утра. — Пар рассеивался. Тимофеич сидел всё так же, глядя на печку. — У нас в шестьдесят четвёртом радист тоже слушал. Хороший был радист. Молодой. Всё слушал и слушал. Ночью сидел, днём сидел.

— И что?

— Ничего. — Тимофеич пожал плечами. — Зиму досидел. Улетел. Больше не зимовал.

Он помолчал.

— Ты меньше крути, Глеб. Ночью. Там ничего хорошего не передают.

Он встал, с кряхтением, опираясь на колено, и пошёл в предбанник. Шульга на полке сидел неподвижно, с закрытыми глазами, ладонями вверх, и Глеб смотрел на его обмороженные пальцы. Они чуть подрагивали, как будто Шульга во сне перебирал ими что-то маленькое.

* * *

По пятницам вечером у радиорубки стояла очередь.

Это было как в почтовом отделении в маленьком городе: те же лица, те же бумажки, те же разговоры. Каждый держал в руке листок, на котором было написано не больше двадцати слов, и каждый перед дверью ещё раз перечитывал свой листок, шевеля губами, и что-то вычёркивал, потому что двадцать слов — это мало, а сказать надо было всё.

Глеб принимал листки по одному, считал слова, ставил номер и складывал стопкой. Потом передавал. Это занимало часа два: Мирный принимал и отправлял дальше, в Москву, в Ленинград, в Обнинск, в Ереван, в Свердловск.

Мелконян: «Ануш как Карен тчк скучаю тчк пусть учит английский тчк Арсен».

Гусев: «Валя жив здоров тчк в этот раз всё хорошо тчк не бойся тчк Коля». Глеб понял, что значит «в этот раз», и ничего не сказал.

Дорн, в Свердловск: «Рая поел тчк Миша». Глеб поднял глаза. Дорн стоял в дверях, огромный, в тельняшке, и смотрел на него с вызовом.

— Три слова, — сказал Глеб. — Можно ещё семнадцать.

— Ей хватит, — сказал Дорн. — Она поймёт.

Рогов: «Галя всё хорошо тчк береги ноги тчк Толя». То же самое, что неделю назад. И две недели назад. Глеб принял и не стал спрашивать.

Костя не принёс ничего. Он стоял в очереди, как все, но когда дошёл до двери, покраснел и сказал, что просто так, посмотреть. Его письма лежали в тумбочке, все сразу. Он хотел отправить их в ноябре, мешком.

Последним был Шульга. Он протянул листок обмороженными пальцами и ушёл, не дожидаясь, пока Глеб посчитает слова. На листке было одно слово, без имени, без адреса.

«Нормально».

Кому — непонятно. Глеб повертел листок, вышел в коридор, но Шульги уже не было. Он вернулся и положил листок в ящик стола. Передавать было некуда.

Когда все ушли и Мирный отстучал «все РДО приняты 73», Глеб остался сидеть в рубке с пустым столом. Свою радиограмму он не писал. Писать было некому. Лида на пятничные радиограммы с Мирного не отвечала с сентября, и он перестал ей посылать в октябре.

Он достал фляжку. Отмерил два глотка. Подумал.

Отмерил третий.

Жар пошёл вниз, и сердце, которое весь вечер било как попало, выровнялось, и ему стало хорошо, легко, тепло, впервые за неделю. Он посидел так минут двадцать, глядя на синюю занавеску с якорями. Потом завинтил фляжку и убрал. Три — это ничего. Три — это ещё ничего.

* * *

Двадцать восьмого марта, в ночь на понедельник, Глеб сидел за ключом и не слушал.

Он честно не слушал уже неделю. Отрабатывал сроки, снимал наушники и клал их на стол, рядом с журналом. Читал. Брал на складе книги, старые, растрёпанные, читанные всеми зимовками: «Двух капитанов», Стругацких, растерзанный том Конан Дойля без обложки. Читал до двух, до трёх, пока буквы не начинали плыть. Стука он больше не слышал. Может быть, потому что не слушал.

Около трёх ночи он вышел на крыльцо проветрить голову.

Ночь была чёрная. Луна висела низко на севере, жёлтая, почти полная, и всё равно звёзд было столько, сколько Глеб в жизни не видел, даже на Мирном. Они лежали на небе густо, плотно, как соль, просыпанная на чёрную скатерть. Над горизонтом на юге дрожало что-то бледное, зеленоватое, похожее на занавеску на сквозняке. Первое сияние. Глеб смотрел на него и забыл, что мёрзнет.

Потом увидел огонь.

Далеко, за подъёмом, со стороны старой вышки, шёл свет. Один фонарь, слабый, жёлтый, покачивающийся в такт шагам. Он приближался. Через несколько минут Глеб разглядел две фигуры и нарты за ними. Тимофеич шёл впереди, с фонарём. Шульга тянул нарты.

Они прошли мимо столба-указателя, мимо столовой. Глеб стоял в тени крыльца, и они его не заметили, или сделали вид. На нартах лежал ящик. Деревянный, длинный, сколоченный из свежих досок, такие делали на станции для керна. Он был обвязан верёвкой крест-накрест, и на крышке белела бумажка.

У домика Рогова они остановились. Тимофеич постучал. Дверь открылась сразу. Рогов был одет, в свитере и валенках. Тимофеич и Шульга подняли ящик с нарт, вдвоём, осторожно, и внесли внутрь. Дверь закрылась.

Шульга вышел через минуту, взял нарты и потащил их к складу. Тимофеич не выходил.

Глеб вернулся в рубку. Посидел. Не читалось.

В восемь утра Рогов пришёл подписывать журнал. Расписался, не читая, достал из кармана листок, сложенный вчетверо, и положил на стол.

— Это служебная, — сказал он. — Передашь вне очереди. Прямо сейчас.

Глеб развернул листок. На нём были только цифры, столбиками, по пять в группе. Тридцать групп. Крупный учительский почерк Рогова, аккуратный, каждая цифра отдельно.

— Это что?

— Служебная. В институт. Передашь как есть.

— Я такого кода не знаю.

— Тебе и не надо. — Рогов говорил спокойно, как всегда. — Ты передай. Мирный знает, куда дальше.

Глеб передал. Тридцать групп, по пять цифр. Ключ стучал ровно, и он слушал, как цифры уходят в эфир, одна за другой, бессмысленные, ничьи. Мирный принял без единого вопроса и отстучал «квитанция 1». Будто ждал.

Рогов стоял за спиной всё время, пока Глеб передавал. Забрал листок, сложил его и сунул в карман.

— Спасибо, — сказал он. — Это в журнал не надо.

И ушёл.

* * *

Квитанцию полагалось отнести начальнику. Таков был порядок: получил подтверждение, расписался, отнёс. Глеб дождался обеда, взял квитанционный бланк и пошёл к домику Рогова.

Он постучал. Никто не ответил. Рогов был в столовой, Глеб видел его там пять минут назад, во главе стола, над тарелкой. Дверь была не заперта, на Востоке двери не запирали. Глеб вошёл, чтобы положить бланк на стол.

В комнате было жарко. Рогов любил тепло, все об этом знали: у него стояла самодельная электрическая печка, спираль на асбестовой плите, и он держал её включённой круглые сутки. Термометр у двери показывал плюс двадцать. Пахло табаком, книгами и шерстяными носками, сохнущими на верёвке над печкой.

Ящик стоял под столом.

Длинный, из свежих досок, обвязанный верёвкой крест-накрест. Глеб положил бланк на стол и посмотрел вниз.

Ящик был белый.

Он был покрыт инеем, весь, сплошь, толстым мохнатым слоем, как будто его только что внесли с улицы. Но его внесли почти десять часов назад. Десять часов он простоял в комнате, где было плюс двадцать, под столом, в полуметре от печки. Иней на нём должен был растаять в первые полчаса. Под ящиком должна была стоять лужа.

Пол под ящиком был сухой.

Глеб присел на корточки. Бумажка на крышке тоже обросла инеем, но буквы ещё читались, крупные, учительские, выведенные чернильным карандашом:

«Новосибирск. Академгородок. Спецрейсом. Не вскрывать».

Он смотрел на эти слова. Потом смотрел на иней.

Иней рос.

Глеб понял это не сразу. Сначала ему показалось, что он просто плохо видит, что глаза устали после ночи. Потом он увидел, как на краю крышки, у самого угла, тонкая игла инея вытянулась на миллиметр. Потом ещё одна, рядом. Потом третья. Они росли медленно, как растёт трава, если смотреть на неё очень долго. И все росли в одну сторону: от краёв крышки к её середине. Все иглы, сколько он их видел, тянулись к центру, ровными рядами, как железные опилки на бумаге тянутся к магниту, который лежит снизу.

Тепло в комнате стояло плотное, сухое, печное. А от ящика шёл холод. Глеб чувствовал его лицом, как чувствуют открытую дверь на улицу.

За спиной хлопнула входная дверь. Глеб вскочил.

— Квитанцию принёс, — сказал он.

Рогов стоял на пороге, с мороза, с инеем на бровях, и смотрел мимо Глеба, под стол.

— Вижу, — сказал он. — Положил?

— Положил.

— Ну и иди.

Глеб пошёл. На пороге он обернулся. Рогов стоял посреди своей жаркой комнаты и смотрел на ящик, и лицо у него было такое, с каким смотрят на спящего ребёнка, если боятся, что он проснётся.

Иглы на крышке за это время подросли. Глебу показалось, что они почти сошлись в середине.

Глава третья. Пустота

Радиожурнал станции Восток. 10.04.83. 09:00 мск. Т −68,9. Ветер штиль. Видимость 10 км. Полярное сияние в южной части неба. 02:30 буровик Шульга В. травмировал правую кисть на основной буровой, оказана мед. помощь. Деж. Ракитин.

В апреле солнце стало гостем.

Оно поднималось к полудню, низкое, оранжевое, проходило над горизонтом короткой дугой, как мяч, который подбросили слабо, и к четырём часам уже садилось. Остальное время была ночь. Длинная, чёрная, с белыми звёздами и зелёными сполохами на юге, с морозом, который стоял на шестидесяти пяти и иногда, к утру, сползал к семидесяти. В такой мороз железо становилось хрупким. Рябов говорил, что зубило на тягаче в прошлую зиму разлетелось от одного удара на куски.

На станции стали больше спать. Высота отпускала понемногу, сердце ночью стучало тише, и люди, которые первые два месяца лежали без сна, теперь проваливались в сон сразу после ужина, тяжело, без сновидений. Глеб завидовал. У него не проходило. Он засыпал под утро, на топчане в рубке, в одежде, и просыпался от того, что часы над столом начинали отсчитывать время до срока.

Ящик из комнаты Рогова исчез через два дня после того, как Глеб его увидел. Рогов перенёс его на холодный склад, в дальний угол, за бочки с солидолом, и накрыл брезентом. Глеб видел, как он это делал, рано утром, один, без помощников. Нёс на руках, прижав к груди, откинувшись назад под тяжестью, и шёл, глядя под ноги.

Брезент над ящиком к вечеру поседел от инея. На холодном складе, где и так было минус сорок, иней на нём рос толще, чем на соседних бочках. Глеб ходил на склад за лампами и каждый раз смотрел. Больше он ничего с этим не делал. Иней рос, и всё.

* * *

Костя Ершов приходил в рубку по вечерам.

Сначала по делу: приносил свои метеосводки, аккуратно переписанные в бланк, и ждал, пока Глеб передаст, чтобы посмотреть, как это делается. Потом просто так. Садился на край топчана, подтянув колени, и смотрел, как Глеб работает ключом, с тем выражением, с каким мальчишки смотрят, как отец чинит мотоцикл.

— А научите меня, — сказал он однажды.

— Чему?

— Ну, этому. Морзянке.

Глеб посмотрел на него.

— Зачем тебе?

Костя смутился и покраснел, как всегда, когда речь заходила о чём-то для него важном.

— Я подумал, — сказал он. — Вот вернусь. А Таня в Калуге. И я ей в окно постучу. Ночью. Тихо. Морзянкой. Её имя. А она не поймёт, конечно. А я ей потом объясню. Глупо, да?

— Глупо, — сказал Глеб. — Садись.

Он посадил Костю за стол, положил его руку на ключ и показал. Т — тире. А — точка, тире. Н — тире, точка. Я — точка, тире, точка, тире. Костя повторял, высунув кончик языка, и у него выходило криво, тире получались короткими, точки длинными, и ключ под его пальцами щёлкал неуверенно, как будто спрашивал.

— Ещё раз, — говорил Глеб. — Не торопись. Рука сама запомнит.

К концу вечера у Кости получалось. Криво, но узнаваемо. Тире. Точка тире. Тире точка. Точка тире точка тире. Он отстучал это раз десять подряд, и с каждым разом ровнее, и на десятый поднял на Глеба глаза, сияющие.

— Получается!

— Получается, — согласился Глеб.

Костя ушёл счастливый. Глеб остался сидеть. Потом положил пальцы на ключ, выключенный, без передатчика, и, сам не зная зачем, отстучал: точка тире точка точка. Точка точка. Тире точка точка. Точка тире.

Л. И. Д. А.

Ключ щёлкал в пустой рубке, сухо, громко, и никто его не слышал.

* * *

В ночь на десятое апреля, на воскресенье, в два часа сорок минут, ожила «Недра».

Так на станции звали УКВ-радиостанцию, старую, в зелёном железном корпусе, с которой держали связь между домиками и с тягачами, если тягачи уходили от станции дальше, чем слышно голос. Она стояла в углу рубки, на тумбочке, и почти всегда молчала, только тихо шипела. Глеб привык к её шипению, как к тиканью часов.

Шипение оборвалось, и из динамика сказали:

— Рубка. Рубка, ответь.

Голос был Тимофеича. Глеб узнал его сразу, хотя голос был чужой, сдавленный, с хрипом, и между словами Тимофеич дышал так, будто бежал.

Глеб схватил тангенту.

— Рубка слушает.

— Глеб. — Пауза, дыхание. — Толю позови. Быстро. Скажи: провалились.

— Что?

— Провалились, скажи. Раствор ушёл. — Снова пауза, и в ней Глеб услышал какой-то звук на заднем плане, глухой, долгий, похожий на то, как в трубе гудит ветер. — И Арсена. Шульгу тросом. Руку. Быстро, Глеб.

Глеб выскочил из рубки в чём был, в свитере, без шапки. Мороз ударил в лицо, и он чуть не задохнулся, но добежал до домика Рогова за полминуты. Застучал кулаком.

Рогов открыл одетый. Глеб потом много раз об этом думал: в третьем часу ночи начальник станции открыл дверь в свитере, в ватных штанах, в валенках, и на лице у него не было сна. Будто он не ложился. Будто ждал.

— Тимофеич, — сказал Глеб, задыхаясь. — По «Недре». Говорит: провалились. Раствор ушёл. Шульге руку тросом.

Рогов закрыл глаза. На секунду. Потом открыл.

— Арсена буди, — сказал он. — Пусть берёт всё для рук. Сам одевайся тепло. Рацию возьми переносную. Пойдёшь с нами.

— Я?

— Ты. — Рогов уже натягивал каэшку. — Мне там связь нужна. И мне нужен человек, который потом будет молчать. Ты молчать умеешь, Глеб. Я видел.

* * *

Они шли втроём: Рогов впереди, с большим фонарём, за ним Мелконян с брезентовой медицинской сумкой через плечо, последним Глеб. Переносная рация висела у него на груди, тяжёлая, в кожаном чехле, и била по рёбрам при каждом шаге.

Ночь стояла безветренная и такая холодная, что воздух казался твёрдым. Минус шестьдесят девять. Глеб дышал через шарф, и шарф сразу заледенел у рта, стал жёстким, как картон. Снег под ногами визжал. Звёзды над головой горели густо, без мигания, а на юге, над горизонтом, колыхалось сияние, зелёное, с розовой каймой внизу, и в его свете снег становился бледно-зелёным, мёртвым, как вода в пруду.

Километр. На Востоке, на высоте, на таком морозе, километр давался как пять. Глеб на середине пути начал задыхаться, и сердце застучало так, что отдавалось в зубах. Мелконян тоже шёл тяжело, сгорбившись. Только Рогов шагал ровно, не сбавляя, и фонарь в его руке раскачивался, бросая на снег длинный жёлтый овал.

Старая вышка выросла перед ними неожиданно. Глеб видел её до сих пор только издалека. Под ней стоял домик, низкий, обшитый листами, с маленьким окошком, из которого шёл жёлтый свет, и с трубой, из которой валил пар. Рядом тарахтел генератор, маленький, на санях, обвешанный сосульками. От генератора к домику тянулся толстый чёрный кабель, полузанесённый снегом. Вышка над домиком была старая, деревянная, с почерневшими брёвнами, но к ней были прибиты новые доски, свежие, светлые, и новый блок наверху поблёскивал смазкой.

Рогов открыл дверь, и их обдало теплом.

Внутри было тесно и после мороза жарко. Плюс десять, может, больше. Посреди домика, в полу, зияла дыра. Глеб не сразу понял, что это. Круглая, широкая, метра полтора в поперечнике, в железном кольце обсадки, тёмном, в инее по краю. Над ней на тросе висело что-то длинное, металлическое, с проводами. Лебёдка у стены стояла, гудя вхолостую.

Шульга сидел на полу, у стены, привалившись к ней спиной, и держал правую руку в левой, прижав к животу. Рукавица на правой руке была порвана, и из прорехи капало на пол тёмное.

Тимофеич стоял над дырой. Он даже не обернулся, когда они вошли.

Мелконян бросился к Шульге. Опустился на колени, стянул рукавицу, Шульга не издал ни звука. Глеб увидел руку и отвёл глаза. Мелконян выругался по-армянски, коротко, тихо, и полез в сумку.

— Как? — спросил Рогов.

— Трос, — сказал Тимофеич, не поворачиваясь. — Снаряд провалился. Сорвался вниз. Трос как бешеный пошёл, Шульга его рукой держал. Дурак. — Он помолчал. — Я его оттащил. Лебёдку застопорил. Снаряд висит. Вот.

Он кивнул на трос. Трос уходил в дыру, натянутый, как струна, и чуть покачивался.

— Сколько?

— Триста два метра. — Тимофеич наконец обернулся. Лицо у него было мокрое от пота и белое, совсем белое. — Шли нормально. Лёд, лёд, лёд. На трёхсот одном пошло мягче. Я думал — пузырь, газ. Сбавил. А на трёхсот втором — всё. Провал. Снаряд ушёл вниз на всю слабину троса. Метров на двадцать. И раствор…

Он не договорил.

— Что раствор? — спросил Рогов.

— Ушёл, — сказал Тимофеич. — Весь. Пятьсот литров горячего, в одну секунду. Как в воронку. И потом…

Он замолчал и посмотрел на дыру. Все посмотрели на дыру.

Глеб услышал звук.

Он слышал его и раньше, с порога, но думал, что это генератор или лебёдка. Теперь, когда все замолчали, он понял, что звук идёт из дыры. Низкий, протяжный, на одной ноте. Будто ветер дует в горлышко огромной бутылки. И воздух в домике двигался. Глеб почувствовал это щекой, лбом. Тёплый воздух из домика тянуло вниз, в дыру, слабой тягой, как в печную трубу.

— Сквозняк, — сказал Мелконян, не поднимая головы от руки Шульги. — Откуда сквозняк?

Никто не ответил. Тимофеич смотрел на Рогова. Рогов смотрел в дыру.

— Тянет? — спросил Рогов тихо.

— С самого провала тянет, — сказал Тимофеич. — Тепло тянет. Вниз. Как дышит.

Глеб подошёл к краю. Он не хотел, но ноги пошли сами. Встал, глядя вниз. Шахта уходила в черноту, ровная, круглая. Свет от лампы под потолком проникал в неё метров на десять, может, на пятнадцать, скользя по железным кольцам обсадки и скобам, а дальше была тьма. Сплошная. Звук поднимался из неё, низкий, долгий, и тёплый воздух шёл мимо лица Глеба вниз, мягко, как выдох наоборот.

Рация на груди зашипела.

Он не трогал её. Она была включена на приём, на частоту станции, и молчала всю дорогу. Теперь она зашипела, и сквозь шипение, очень тихо, едва различимо, пришёл щелчок.

Пауза.

Щелчок.

Глеб не смотрел на часы. Он и так знал.

Рогов стоял рядом. Он тоже слышал. Глеб видел по его лицу, что слышал, но Рогов ничего не сказал. Он протянул руку и, не глядя, выключил рацию у Глеба на груди. Щелчок пропал. Остался только звук из шахты.

— Поднимай, — сказал Рогов Тимофеичу.

* * *

Снаряд поднимали двадцать минут. Лебёдка ныла, трос шёл тяжело, с остановками, и с него капало. Тимофеич стоял у рычага, Рогов у края, Глеб держал фонарь. Мелконян перевязывал Шульгу. Шульга сидел молча, глядя в стену, и только когда Мелконян вкалывал ему что-то в плечо, дёрнулся и выдохнул сквозь зубы.

Снаряд показался из дыры, мокрый, облепленный по низу ледяной кашей. Термобур, Глеб уже понял, что это такое: длинная труба, а на конце кольцо, которое раскаляется током и плавит лёд, вырезая керн. Тимофеич и Рогов вдвоём втащили его на край, уложили на настил. Тимофеич открутил нижнюю секцию, и оттуда, на подставленный лоток, выполз керн.

Короткий. Сантиметров сорок. Обломанный снизу неровно, косо.

Тимофеич положил лоток на верстак, под лампу. Все подошли.

Сверху керн был обычный. Лёд, голубоватый, мутный, с пузырьками, как у Савельева. Но чем ниже, тем он становился другим. Пузырьки исчезали. Лёд светлел, делался прозрачнее, чище, как стекло, и в самом низу, у неровного излома, он был прозрачным совсем. Сквозь него было видно доску верстака.

И в этом прозрачном льду, у самого края, сидело что-то чёрное.

Размером с кулак. Глеб сначала подумал, что это камень, кусок породы, захваченный снизу. Потом увидел, что у него грани. Плоские, с чёткими рёбрами, как у карандаша, только шире. Чёрное было вплавлено в лёд наполовину, и половина торчала наружу, из излома.

— Посвети, — сказал Рогов.

Глеб поднёс фонарь.

Луч упал на чёрное и пропал.

Глеб не понял. Он отвёл фонарь в сторону, на лёд, и на льду вспыхнул яркий блик, голубой, отражённый. Повёл обратно, на чёрное. Блик исчез. Свет упирался в грань и уходил в неё целиком, без остатка, без отблеска. Грань оставалась такой же чёрной, как была, словно на неё никто не светил. Словно в ней была дыра, которая продолжалась внутрь, куда-то, где света не было никогда.

Он держал фонарь и смотрел. Рука начала дрожать.

— Не свети больше, — сказал Тимофеич тихо. — Не надо.

Глеб опустил фонарь.

Мелконян, который закончил с Шульгой и подошёл сзади, наклонился над верстаком.

— А это что? — спросил он. — Вокруг. Во льду.

Глеб посмотрел. Вокруг чёрного, в прозрачном льду, шли тонкие белые линии. Сначала он принял их за трещины. Потом разглядел, что это кристаллы. Длинные, игольчатые, тонкие, как волосы. Их было много, сотни. И все они, сколько видел глаз, были вытянуты в одну сторону. К чёрному. Они росли из толщи льда и сходились к граням, со всех сторон, как ресницы к глазу, как иней на крышке ящика в комнате Рогова.

Глеб поднял глаза на Рогова. Рогов смотрел на кристаллы.

— Видел такое? — спросил его Мелконян. — Анатолий Фёдорович. Ты такое видел?

Рогов не ответил. Он стоял над верстаком, опираясь на него обеими руками, и Глеб заметил, что у Рогова дрожат пальцы. Мелко, часто, как после долгого мороза.

— Тимофеич, — сказал Рогов наконец. — Сколько у нас там под снарядом было?

— Метров двадцать пустоты, — сказал Тимофеич. — Я по тросу считал. Двадцать метров снаряд падал, пока трос не выбрал. А дна не достал. Висел.

— Двадцать метров пустоты на трёхстах.

— Может, больше. Может, это я только до стенки достал. Может, там вбок уходит.

— Полость, — сказал Мелконян. Он выпрямился. — Пещера, что ли? Во льду?

— Полость, — повторил Рогов. Он оторвал руки от верстака и выпрямился. — Значит, так. Шахту закрыть. Крышку на дыру, утеплить, генератор не глушить, пусть держит тепло. — Он посмотрел на Тимофеича. — Сегодня больше никто вниз ничего не опускает. Ничего. Ты меня понял, Пётр Тимофеевич?

— Понял.

— Арсен. Шульгу забираем, ведём на станцию. Как рука?

— Три пальца, — сказал Мелконян. — Кости целы, мясо порвано. Обморожение старое, свежая рана. Плохо заживать будет. Ему бы в госпиталь.

— Госпиталь в ноябре, — сказал Рогов. — Ты наш госпиталь.

Он повернулся к Глебу.

— Ты.

Глеб ждал.

— Ты ничего не видел. — Рогов сказал это спокойно, без угрозы. — Я тебя взял, потому что мне нужна была связь. Связь не понадобилась. Ты постоял с фонарём у двери и пошёл обратно. В журнале ничего. Вообще ничего про эту ночь. Тимофеич по «Недре» звал врача, потому что Шульга поранил руку на официальной буровой. Так и запишешь.

— На официальной, — повторил Глеб.

— На официальной. — Рогов смотрел на него. — Мелконян так и напишет в медкарте. Правда, Арсен?

Мелконян долго молчал. Потом пожал плечами.

— Рука — она рука, — сказал он. — Где бы ни порвал.

Рогов кивнул и снова посмотрел на Глеба.

— Я тебя прошу, Глеб, — сказал он. — Я пока ещё прошу.

* * *

Утром Глеб передавал служебную. Опять цифры, опять группы по пять, опять почерк Рогова. На этот раз групп было шестьдесят.

Руки дрожали. Ночью, вернувшись в рубку, он выпил. Три глотка, потом ещё два, потом перестал считать, и уснул на топчане, не раздеваясь, а когда проснулся от будильника за пять минут до срока, во рту было сухо и горько, и голова гудела, как шахта.

Он гнал группы, и ключ под пальцами ходил неровно. Тире выходили короткими, точки сливались. На четырнадцатой группе Мирный прервал его и отстучал: «повтори 14». Глеб повторил. На двадцать девятой: «повтори 29». На сорок первой снова. Он чувствовал, как Юрка Сомов там, на Мирном, хмурится над бланком, и как ему, Юрке, неловко за него.

Рогов стоял за спиной.

Когда Глеб закончил, Рогов молча забрал листок. Постоял.

— Три повтора, — сказал он.

— Три.

— За год ни одного не было, я журнал Мирного видел. А сегодня три.

Глеб ничего не ответил. Рогов наклонился и открыл нижний ящик стола. Посмотрел на фляжку. Закрыл.

— Я тебе ничего не запрещаю, — сказал он, так же, как в первый вечер. И ушёл.

* * *

К Шульге Глеб зашёл на следующий день, после обеда. Мелконян положил его в медпункте, на единственную койку за ширмой, и велел лежать, пока не спадёт жар.

Глеб принёс ему чай в эмалированной кружке и печенье, которое Дорн выдал без слова, сунул в руки и отвернулся. Шульга лежал на спине, глядя в потолок. Правая рука, толстая от бинтов, покоилась на груди, как что-то отдельное, чужое, положенное сверху. Щёки у него ввалились, губы были обмётаны.

— Чай, — сказал Глеб.

Шульга перевёл на него глаза. Медленно, будто глаза у него тоже болели.

— Поставь.

Глеб поставил кружку на табуретку. Постоял. Сесть было некуда, и он прислонился к стене.

— Болит?

— Нет, — сказал Шульга. — Мёрзнет.

Он долго смотрел в потолок. Потом сказал тихо, будто продолжал разговор, начатый давно и не с Глебом:

— Там тепло было. Внизу.

Глеб ничего не сказал.

— Когда трос пошёл. Я руку на него положил, чтобы держать. И он меня потащил. К дыре. Я на коленях стоял у самого края. И рука туда, вниз ушла. По локоть. — Шульга чуть пошевелил забинтованной рукой. — И там тепло было. Как дома у печки. Я такого тепла с самого дома не помню.

— На трёхстах метрах?

— Не знаю, на скольких. Рука там была. — Шульга повернул голову и посмотрел на Глеба. Глаза у него были светлые, водянистые, с красными прожилками. — Мне потом Тимофеич говорит: ты чего не отпускал, дурак. А я не отпускал, потому что там тепло. Я руку туда тянул. Сам. Понимаешь?

Глеб понимал не до конца. Он кивнул.

— Мне бы туда, — сказал Шульга и снова уставился в потолок. — Погреться.

За ширмой хлопнула дверь, вошёл Мелконян, увидел Глеба и показал ему глазами на выход. Глеб вышел. На пороге обернулся. Шульга лежал так же, на спине, и забинтованная рука на его груди едва заметно сжималась и разжималась, как будто пробовала, есть ли в ней ещё пальцы.

* * *

В тот же день Рогов собрал у себя Савельева и Зотова.

Глеб узнал об этом от Кости, который видел, как Зотов шёл к Рогову с фотоаппаратом и штативом, а Савельев с ящиком своих инструментов. Потом все трое, вместе с Тимофеичем, ушли к старой вышке и вернулись только к ужину. За ужином Савельев был тихий. Глеб никогда не видел его тихим. Гляциолог сидел над тарелкой, ел, не глядя ни на кого, и свитер с оленями висел на нём, как с чужого плеча.

Пак сидел рядом с ним, поглядывал сбоку, наконец наклонился и спросил что-то вполголоса. Савельев покачал головой, не поднимая глаз. Пак выпрямился, и лицо у него стало спокойное, удовлетворённое, как у человека, который давно знал ответ задачи, и ему наконец показали, что ответ сошёлся.

После ужина Глеб нагнал Савельева на крыльце.

— Евгений Палыч.

Савельев обернулся. Посмотрел на него, и Глеб понял, что тот знает, где Глеб был ночью.

— Ты видел, — сказал Савельев и кивнул сам себе.

— Видел.

— Тогда ты понимаешь. — Савельев достал папиросу, долго мял её в пальцах, но так и не закурил. — Я лёд двадцать лет смотрю. Шпицберген. Памир. Здесь третью зимовку. Я про лёд всё знаю, Ракитин. Как он растёт, как ломается, как кристаллы ложатся. Они ложатся по оси. По давлению, по слоям, по температуре. Это физика. Это школьная физика.

Он замолчал.

— А там они ложатся к этой штуке. Все. Против давления. Поперёк слоёв. Как будто лёд десять тысяч лет рос туда, куда его тянули, и плевал на всю физику.

— Десять тысяч?

— На трёхстах метрах — тысяч десять, двенадцать. — Савельев сунул папиросу обратно в пачку. — И грани у неё ровные. Ровнее, чем у любого кристалла, какой я видел. Шесть граней. Я посчитал. Шесть, как у гайки. Как у соты.

Он посмотрел на небо, на юг, где снова начинало колыхаться сияние.

— Рогов сказал, никому, — сказал он. — Ну и правильно. Кому тут говорить.

Он пошёл к своему домику, сгорбившись.

Глеб заметил, что у старой вышки, далеко, за подъёмом, горит огонёк. Маленький, жёлтый. В окне домика. Генератор там не глушили, Рогов велел держать тепло. Огонёк мигнул и пропал, будто его заслонили изнутри. Через несколько секунд он загорелся и опять пропал.

В тот вечер Тимофеич сидел в кают-компании, играл с Гусевым в домино. Рогов был у себя. Шульга лежал в медпункте за ширмой, Мелконян дал ему что-то сильное и сказал, что тот проспит до утра.

Кто стоял у окна, Глеб не знал.

* * *

Зотов позвал его в одиннадцатом часу вечера.

Он пришёл в рубку сам, постучал, вошёл, не дожидаясь ответа, и встал у двери. Он был в свитере, без каэшки, хотя от домика аэрологов до рубки было метров пятьдесят по морозу. Пальцы у него были жёлтые и пахли проявителем.

— Пойдём, — сказал он. — Покажу.

— Что?

— Пойдём.

Фотолаборатория у Зотова была в чулане его домика, крошечная, без окон, с красной лампой под потолком. Красный свет делал всё внутри ненастоящим: руки, лица, ванночки с растворами, бельевую верёвку под потолком, на которой на прищепках висели мокрые снимки. Пахло кислым, химическим. Было тепло и тесно, и Глеб стоял, касаясь плечом плеча Зотова.

Зотов снял с верёвки два снимка. Ещё влажные, они блестели в красном свете.

— Рогов велел снять, — сказал Зотов. — Для отчёта. Я поставил аппарат на штатив. На верстак, напротив керна. Чтобы не двигался. Вот этот кадр. Потом выставил свет по-другому, подождал, пока лампа прогреется. Минуты две. И снял второй. С той же точки. Штатив я не трогал. Керн никто не трогал. Тимофеич смотрел.

Он поднёс снимки к красной лампе, один рядом с другим.

На обоих был керн, и в нём чёрное. На первом снимке оно было повёрнуто к объективу гранью, и видны были рёбра, расходящиеся от центра, как спицы. Глеб посчитал. Шесть рёбер. Шесть граней. Как сказал Савельев.

— Теперь сюда, — сказал Зотов и ткнул пальцем во второй.

Глеб посмотрел. Тот же керн. Тот же ракурс. Тот же излом льда, те же кристаллы, тянущиеся к чёрному. Он узнавал каждую трещинку, каждый пузырёк.

Он посчитал рёбра.

Потом посчитал ещё раз, медленно, ведя пальцем над снимком, не касаясь.

Семь.

— Я не поворачивал, — сказал Зотов тихо. В красном свете его лицо было тёмным, как у чужого. — Штатив стоял. Две минуты. Я не поворачивал, Глеб.

С верёвки над их головами капало на пол. Красная лампа гудела. Глеб держал снимки в руках, по одному в каждой, и смотрел то на один, то на другой. Шесть. Семь. И на втором снимке, в прозрачном льду, кристаллы у новой, седьмой грани были короче остальных. Будто начали расти совсем недавно.

Глава четвёртая. Ночь

Радиожурнал станции Восток. 23.04.83. 15:00 мск. Т −71,3. Ветер Ю 1 м/с. Заход солнца 13:52 местн. Следующий восход ориентировочно 20.08. Происшествий нет. Деж. Ракитин.

Провожать солнце вышли все.

Так было заведено на Востоке с первой зимовки, и никто не помнил, с кого это пошло. В последний день, когда солнце ещё показывалось над горизонтом, вся станция выходила на снег за домиками, туда, где ничего не загораживало северную сторону, и стояла, пока оно не уйдёт. Тринадцать человек в каэшках, в шапках, в масках из шарфов, с заиндевевшими бровями. Стояли молча, как на перроне.

Солнце в этот день только высунулось над краем снега, тусклое, тёмно-красное, похожее на угли в печке, которые подёрнулись пеплом. Над ним стояла узкая полоса светлого неба, зелёная, потом жёлтая, потом снова зелёная. Снег от этого света был розовым только у самого горизонта, а под ногами уже синим, почти чёрным.

Дорн вынес из камбуза большой алюминиевый чайник, обмотанный ватником, и кружки на проволоке. Разливал всем по очереди, не спрашивая. Чай был сладкий до приторности и пах дымом. Глеб взял кружку двумя руками и почувствовал, как жар идёт сквозь рукавицы в пальцы.

— Ну, — сказал Лапин. Он стоял чуть впереди всех, лицом к солнцу, и было видно, что он хочет сказать что-нибудь. — Ну, товарищи…

— Не надо, Юра, — сказал Рогов негромко. — Просто постоим.

Лапин замолчал.

Костя стоял рядом с Глебом и смотрел на солнце, не мигая, с той же жадностью, с какой смотрел на шар Зотова. Пар из-под его шарфа шёл часто и густо. Он был без варежки на правой руке, держал в голой руке карандаш и писал в маленьком блокноте, прижатом к колену, быстро, мелко, и карандаш на морозе не писал, только царапал, и Костя дул на грифель и писал снова.

— Что пишешь? — спросил Глеб.

— Что последнее солнце, — сказал Костя. — Какого цвета. Таня спросит, а я забуду.

Зотов щёлкнул затвором раз, другой. Он снимал людей: их затылки, плечи, тёмные силуэты на розовом. Потом повернулся и снял всех сразу, в профиль, длинной цепочкой.

Солнце уходило. Оно опускалось медленно, как лампа, у которой убавляют фитиль. Сначала исчезла нижняя половина. Потом от него осталась полоска, тонкая, красная, как порез. Потом точка.

Потом ничего.

Свет ещё постоял над горизонтом, зелёный, бледный, и тоже стал гаснуть. Кто-то вздохнул. Гусев сказал «всё», шёпотом, будто покойника проводил. Рябов хотел пошутить и не стал.

Глеб посмотрел вдоль цепочки людей. Все смотрели на север, туда, где только что было солнце. Все, кроме одного. Шульга стоял в конце цепочки, с правой рукой на перевязи, толстой от бинтов, и смотрел в другую сторону. На юг. Туда, за подъём, где в темноте теплился жёлтый огонёк в окошке у старой вышки.

Он смотрел на огонёк так, как смотрят на окно своего дома, когда возвращаются издалека.

* * *

Ночь пришла на четыре месяца, и станция переменилась.

Свет теперь горел везде и всегда. В домиках, в коридорах, в столовой, в бане. Лампочки под потолком не гасли ни днём, ни ночью, и день от ночи теперь отличали только часы на стене

и сроки в журнале. ДЭС гудела тяжело, и Гусев ходил к ней по шесть раз в день, слушал, клал ладонь на кожух, как кладут на лоб больному.

Окна стали зеркалами.

Глеб замечал это постоянно, хотя старался не замечать. Каждое окно на станции теперь показывало комнату, в которой было, и людей в этой комнате. В столовой за ужином на чёрном стекле сидели тринадцать человек над тарелками. В кают-компании, где играли в домино, за чёрным стеклом тоже играли в домино, беззвучно, с теми же лицами. В рубке, если поднять голову от ключа, на Глеба смотрел небритый радист с наушниками на шее.

Занавески стали задёргивать многие, и Глеб тоже. Мелконян повесил в медпункте одеяло на окно. Дорн на камбузе заклеил своё окно газетой, «Правдой» за прошлый ноябрь, и сказал, что так теплее. Никто не спорил. Все и так знали: смотреть на себя полярной ночью тяжело. Об этом рассказывали старые зимовщики, об этом писали в книжках. Человек на четвёртый месяц ночи начинает себе не нравиться. Лицо в окне кажется чужим. Это от темноты, от недостатка солнца. Это пройдёт.

Глеб задёрнул свою синюю занавеску с якорями и больше её не открывал.

* * *

Шульга вернулся на работу двадцать шестого.

Мелконян был против. Рука заживала плохо, три пальца так и не начали гнуться, под бинтом что-то мокло, и каждые два дня Мелконян менял повязку и хмурился. Но Шульга сказал, что лежать он больше не может, что сходит с ума от потолка, и Рогов разрешил. С условием: никаких лебёдок, никакого троса. Просто дежурство. Сидеть у старой вышки ночью и следить, чтобы генератор не заглох и в домике держалось тепло.

Шахту к тому времени закрыли деревянной крышкой, утеплённой войлоком. Генератор не глушили с той ночи, как Рогов и велел. Тепло в домике держали постоянно. Тимофеич дежурил днём, Шульга теперь ночью.

Каждые два часа дежурный выходил на связь по «Недре». Так велел Рогов: если на вышке что-то случится, станция должна знать сразу. Глеб записывал эти выходы в журнал, коротко: время, «вышка — норма».

В ночь на двадцать восьмое, на четверг, Шульга вышел на связь в полночь.

— Рубка. Вышка. Норма.

Голос был обычный, хрипловатый, ленивый, как у Шульги всегда. Глеб ответил «принял» и записал.

В два часа:

— Рубка. Вышка. Норма.

«Принял».

Между двумя и четырьмя он сидел и смотрел на нижний ящик стола.

Эту неделю он держался. Два глотка вечером, после последнего срока, и больше ничего. Фляжка стояла почти полная, и он знал, сколько в ней, до миллиметра, потому что каждый вечер, прежде чем убрать, поднимал её к лампе и смотрел на просвет. Мелконян в среду, меняя бинт Шульге, сказал Глебу через плечо, не оборачиваясь: «А ты молодец». И больше ничего. Глеб весь день потом носил это «молодец» в себе, как монету в кармане.

В три он открыл ящик. Посмотрел на фляжку. Закрыл.

Он надел наушники и включил приёмник. Тимофеич велел ему ночью меньше крутить. Он и не крутил. Поставил на пустую частоту, где никого не было, где был только шум, и слушал шум, потому что шум был лучше, чем тишина и ящик. Шум над полюсом шёл волнами, шуршал, как море в ракушке. Стука в нём не было. Глеб слушал его минут сорок и думал о Лиде, о Седьмой линии, о том, как она красила лепнину и ругалась на стремянку. Потом снял наушники.

В четыре часа «Недра» молчала.

Глеб посмотрел на часы. Четыре ноль одна. Четыре ноль три. Он взял тангенту.

— Вышка, рубка. Вышка, ответь.

Шипение.

— Вышка. Шульга. Ответь рубке.

Шипение. Щелчок, и динамик ожил, и Глеб с облегчением выдохнул.

— Рубка. Вышка. Норма.

Глеб открыл рот, чтобы ответить «принял», и не ответил.

Голос был Шульги. Хрипловатый, ленивый. Те же три слова. Но что-то в них было не так, и Глеб сначала не понял, что именно. Он сидел с тангентой у рта и прислушивался к тому, что уже отзвучало.

Динамик щёлкнул снова.

— Рубка. Вышка. Норма.

Глеб понял.

Это было то же самое, звук в звук: с той же интонацией, с той же ленивой оттяжкой на «рубка», с тем же хрипом в середине «вышки», с тем же коротким выдохом после «нормы». Как будто кто-то записал на магнитофон полуночный выход на связь и теперь проигрывал его снова. Глеб слышал этот выдох в полночь. И в два. Каждый раз он был одинаковый, только Глеб не замечал, потому что не вслушивался.

Он нажал тангенту.

— Шульга. Это Ракитин. Скажи что-нибудь. Что угодно. Как рука?

Шипение. Долгое.

— Рубка. Вышка. Норма.

Глеб положил тангенту на стол. Посидел секунду, встал и пошёл будить Тимофеича.

* * *

Они пошли вчетвером: Тимофеич, Глеб, Рябов и Костя. Костя проснулся от стука и голосов, выскочил на крыльцо своего домика, в майке, взлохмаченный, спросил, что случилось, нырнул обратно за каэшкой и догнал. Его никто не звал. Рябов завёл тягач, большой, гусеничный, с прожектором на кабине, и поехал впереди, освещая путь, а они шли следом, по гусеничному следу, спотыкаясь.

Было минус семьдесят два. Глеб потом смотрел этот срок в журнале: семьдесят два и шесть десятых. Воздух не входил в лёгкие. Он стоял во рту колючим комом, и надо было проталкивать его внутрь силой, маленькими порциями, и на каждом шаге сердце билось где-то в горле. Глаза слезились, и слёзы сразу замерзали на ресницах, склеивая их. Глеб дважды останавливался и отдирал их рукавицей.

Костя шёл рядом и молчал. Глеб слышал, как он дышит, часто, со свистом.

Тягач остановился у домика. Прожектор упёрся в стену, в дверь, в маленькое окошко, в котором горел свет. Генератор тарахтел. Из трубы шёл пар.

Тимофеич открыл дверь.

Внутри было тепло и пусто.

Лампа горела под потолком. Генератор за стеной работал. На столе стоял термос, открытый, и кружка, в которой на дне остыл чай, коричневый, подёрнутый плёнкой. У стены, на табуретке, лежала переносная рация, включённая, с горящей лампочкой. Тангента висела на шнуре и чуть покачивалась от сквозняка из двери.

Крышка на шахте была сдвинута.

Её сдвинули на треть, на полметра, и в этой щели была чернота, и из неё шёл звук. Тот самый, низкий, на одной ноте. И тёплый воздух из домика тянуло туда, в щель.

Рядом с щелью на полу лежали рукавицы. Обе. Аккуратно, одна на другой.

А чуть дальше, у самого края шахты, лежал бинт.

Он был размотан. Весь, целиком, длинной грязно-белой лентой, сложенной на полу петлями, как сматывают верёвку. На одном конце бинт был тёмный, бурый, заскорузлый, с присохшей ватой. На другом конце бинт уходил в щель под крышкой. Свешивался туда. Вниз.

Тимофеич подошёл, присел на корточки и потянул бинт за конец. Бинт пошёл легко, без сопротивления, и вытянулся из щели весь. Конец был чистый. Белый. Будто его никогда не касалась рука.

— Шульга! — крикнул Рябов в дверях. — Валерка!

Звук из шахты не изменился.

Тимофеич стоял на коленях у края, с бинтом в руках, и смотрел в щель. Положил бинт на пол. Встал. Посмотрел на рацию на табуретке. Взял тангенту, повертел в пальцах.

— Он отсюда говорил? — спросил Глеб. — В четыре?

Тимофеич не ответил. Он нажал на тангенту, и Глеб представил, как в пустой рубке, за километр, сейчас щёлкнула «Недра». Тимофеич подержал тангенту нажатой. Потом отпустил. Положил.

— Отсюда никто не говорил, — сказал он. — Тут никого нет.

* * *

Искали до утра.

Луна в ту ночь была полная, но стояла за морозной мглой мутным пятном, и света от неё не было. Рябов поехал на тягаче по кругу, расширяя его с каждым витком, и прожектор шарил по снегу, длинный, белый, и выхватывал из темноты то заструги, то вешки, то бочку, вмёрзшую в наст с какой-то давней экспедиции. Тимофеич и Глеб обошли вышку, домик, генератор. Светили фонарями под сани. Звали. Голос на таком морозе глох в нескольких шагах.

Следов не было. Вокруг домика снег был истоптан, но это были их собственные следы и старые, Тимофеича, Шульги, дневные, вечерние, вчерашние. Следа, который уводил бы от домика в темноту, не было. Глеб обошёл домик трижды, светя фонарём под ноги. Не было.

Подъехал второй свет: Рогов на втором тягаче, с Мелконяном и Гусевым. Рогов вошёл в домик, постоял над щелью, над бинтом, над рукавицами. Глеб видел его лицо в свете лампы. Оно было прежнее, только складки у рта стали глубже.

— Крышку закрыть, — сказал Рогов.

Тимофеич с Гусевым задвинули крышку. Звук из шахты стал глуше, но не пропал.

— Ищем на станции, — сказал Рогов. — Во всех помещениях. На складах. В бане, в ДЭС, под домиками. Может, он сюда и не приходил. Может, ушёл раньше, вышел до ветра и сбился. Обморожение, жар. Мало ли.

— Он в два на связь выходил, — сказал Глеб. — Отсюда.

Рогов посмотрел на него.

— А в четыре? — спросил он.

Глеб открыл рот. Закрыл.

— Ищем на станции, — повторил Рогов.

Искали на станции до восьми. Все тринадцать, точнее, двенадцать. Открывали склады, лезли под домики, светили в бочки. Дорн проверил свои холодильные камеры, ругаясь, что топчут. Пак и Савельев обошли метеоплощадку. Зотов облазил свою лабораторию и фотокладовую. Костя ходил за Глебом, как привязанный, и ничего не говорил, и Глеб видел, что у Кости дрожат губы.

Глеба поставили с Костей на столовую. Под ней был подпол, низкий, в полметра, где лежали трубы отопления, обмотанные стекловатой, и где, по слухам, ещё до пожара нашли спящую крысу, привезённую с Мирного в мешке с крупой. Глеб лёг на живот и посветил фонарём. Трубы, стекловата, иней на досках. Пусто.

Костя лежал рядом и светил в другую сторону.

— Он мне маму свою показывал, — сказал Костя. — Фотографию. В феврале ещё. Маленькую такую, в бумажнике. Она у него под Читой. Одна. Отец умер. Он ей деньги посылает, всю зарплату почти. — Он помолчал. — Он со мной один раз только и разговаривал. А так всегда молчал.

— Найдём, — сказал Глеб.

— Вы не знаете.

— Не знаю.

Костя выключил фонарь. Полежал в темноте. Глеб слышал, как он дышит, мелко, рвано, и понимал, что Костя сейчас заплачет и стыдится этого.

— Он там один ходит, — сказал Костя. — В темноте. А мы тут лежим.

Глеб положил руку ему на плечо. Неловко, через каэшку. Костя не отодвинулся. Они полежали так ещё немного, двое мужиков под полом столовой, на краю света, с выключенным фонарём. Потом Костя шмыгнул носом, включил фонарь и пополз дальше.

В восемь Рогов сказал всем идти завтракать.

— А потом снова, — сказал он. — Тягачами. Широким кругом. Пока светло не станет.

Никто не сказал ему, что светло не станет до августа.

В рубке Глеб открыл журнал. Рогов стоял рядом.

— Пиши, — сказал Рогов.

Глеб написал: «04:00. Дежурный вышки Шульга В. на связь не вышел. 04:05. Поисковая группа выехала. Ведутся поиски».

Он ждал, что Рогов скажет «это не надо». Рогов прочёл, кивнул и расписался.

* * *

За завтраком никто не разговаривал.

Дорн разливал кашу. Ставил тарелки, как всегда, двумя руками. Тарелку Шульги он тоже поставил, на его место, у края стола, рядом с Тимофеичем, и никто не сказал ему, что не надо. Тарелка стояла и остывала. Над ней поднимался пар, потом перестал.

Глеб не мог есть. Он сидел над кашей, держал ложку и смотрел на пустое место. Тимофеич рядом с этим местом ел медленно, как всегда, и ни разу не повернул туда голову.

Дверь открылась в восемь сорок.

С улицы ударило морозом, белым паром, и в этом паре на пороге стоял Шульга.

Он был весь белый. Каэшка, шапка, брови, ресницы, щетина на щеках. Иней лежал на нём толстым мохнатым слоем, как на ящике в комнате Рогова. Он стоял на пороге, смотрел на всех и улыбался, виновато, неловко, как улыбается человек, который опоздал.

— Заблудился, — сказал он. — Свет на вышке моргнул, генератор чихнул, я вышел посмотреть. А там темно. Дверь найти не могу. Пошёл к станции, на огни. Огней не видно. Ходил кругами. Потом увидел. — Он развёл руками. — Вот.

Тишина держалась секунду. Потом все заговорили сразу. Рябов вскочил и обнял его, хлопая по спине так, что с каэшки посыпался иней. Гусев засмеялся, громко, нервно. Костя сел на скамейку и закрыл лицо руками. Мелконян встал, пошёл к Шульге, схватил его за лицо, повернул к свету, заглянул в глаза.

— Пальцы, — сказал Мелконян. — Нос. Уши. Покажи.

— Потом, Арсен Ваганыч, — сказал Шульга. — Дайте поесть сначала. Есть хочу, сил нет.

Он прошёл к своему месту, мимо Глеба, сел. Дорн подошёл, забрал остывшую тарелку и поставил новую, горячую, полную. Шульга взял ложку и начал есть.

Правой рукой.

Глеб смотрел на эту руку. На ней не было бинта. Шульга снял каэшку, повесил её на спинку стула. Рукавиц на нём не было, и рука была голая: красноватая, с белыми пятнами старого обморожения на костяшках. Пальцы обхватывали ложку. Все пять. Сгибались, разгибались, ловко, быстро.

Три из них ещё вчера не гнулись совсем.

Глеб перевёл взгляд на Мелконяна. Мелконян тоже смотрел на руку. Лицо у врача было странное, неподвижное. Он так ничего и не сказал.

— Ну ты дал, Валерка, — говорил Рябов, сев напротив. — Ну ты дал. Полночи в такой мороз. Я думал, найдём тебя под сугробом, как мамонта. Ты как живой-то остался?

— Ходил, — сказал Шульга, жуя. — Всё время ходил. Нельзя было останавливаться. Остановишься — уснёшь. Я это знаю. Я всё время ходил и ходил, и думал, что вот сейчас увижу станцию, вот сейчас, и не видел, а потом увидел. Повезло, значит.

Он говорил длинно, ровно, не прерываясь. Глеб слушал. Все остальные за столом, все двенадцать человек, говорили короткими фразами, по три-четыре слова, а потом вдыхали. Высота. Три с половиной тысячи метров. Так говорил Рогов, так говорил Глеб, так говорил даже Рябов, у которого лёгкие были как мехи. Человек, который пробыл полночи на морозе минус семьдесят два, на такой высоте, должен был сидеть сейчас, сипя и хватая воздух, и не мочь сказать двух слов подряд.

Шульга говорил без вдоха. Целое длинное предложение, и ещё одно, и ещё. Ровно, спокойно, на одном дыхании.

Глеб сидел и слушал, как Шульга дышит. Шульга дышал медленно и неглубоко. Как человек, который спит.

* * *

После завтрака мужики высыпали на крыльцо курить. Так всегда бывало после сильных волнений: выходили на мороз, на минуту, по двое, по трое, сделать три затяжки и вернуться, потому что дольше на таком холоде не выдержишь даже с папиросой.

Глеб вышел следом, хотя не курил с Мирного.

Над крыльцом горела лампа в железной сетке, и в её свете пар от людей поднимался густыми белыми облаками. Рябов курил и говорил что-то Гусеву, и с каждым словом изо рта у него вылетал клуб пара, а потом дым, а потом опять пар. Гусев смеялся, и смех тоже выходил паром, рваным, частым. Тимофеич стоял молча, курил, и вокруг его лица висело облако, которое не успевало рассеяться, как над чайником.

Шульга стоял у перил, в конце крыльца. Он вышел вместе со всеми и тоже говорил, отвечал Рябову, смеялся.

Изо рта у него ничего не шло.

Глеб смотрел. Шульга что-то сказал, улыбнулся, повернул голову. Свет от лампы падал ему прямо на лицо. Губы двигались. Воздух перед губами был чистый. Прозрачный. Ни облачка. При минус семидесяти, когда у каждого человека изо рта при каждом слове вылетал белый клуб, перед лицом Шульги не было ничего.

Как перед лицом статуи.

Глеб перевёл взгляд на Тимофеича. Тимофеич смотрел туда же. Папироса в его пальцах догорала, пепел нарос длинным столбиком и вот-вот должен был упасть. Тимофеич не стряхивал.

Шульга заметил, что на него смотрят. Повернулся к Тимофеичу. Улыбнулся.

— Холодно, Тимофеич, — сказал он. — Пойдём в тепло.

И первым ушёл в дом.

* * *

В рубку он пришёл поздно вечером.

Глеб сидел за ключом, только что отработав вечерний срок. Мирный передал сводку из Москвы, какие-то новости, которых Глеб не запомнил. Он снял наушники и сидел, глядя на свою занавеску с якорями. В нижнем ящике лежала фляжка. Он весь день о ней думал. Весь день не открывал.

Постучали.

Один раз. Глеб вздрогнул. Подождал. Больше не стучали. Дверь открылась.

На пороге стоял Шульга. В свитере, без каэшки. В руке листок бумаги.

— Радиограмму бы, — сказал он. — Можно не в пятницу?

— Можно, — сказал Глеб. Голос вышел сиплый, и он откашлялся. — Давай.

Шульга подошёл к столу. Глеб сидел, не вставая. Шульга встал за его плечом, сбоку, близко, и протянул листок. Глеб взял.

«Нормально. Валера».

И адрес. Полный, подробный, аккуратно выписанный. Посёлок где-то под Читой, улица, дом. Шульга Анне Петровне.

— Матери, — сказал Шульга. — Я в прошлый раз без адреса дал. Ты не передал, наверно.

— Не передал, — сказал Глеб. — Адреса не было.

— Я знаю. Я забыл тогда. А теперь вспомнил.

Почерк на листке был ровный, круглый, аккуратный, как в школьной прописи. Буквы стояли одна к одной, как солдаты в строю. В марте Шульга писал обмороженными пальцами, и буквы у него разъезжались, кривые, как забор после пурги. Это было то же слово. Та же бумага, из той же пачки. Почерк был другой.

— Передам, — сказал Глеб.

— Спасибо.

Шульга стоял за его плечом и не уходил. Глеб чувствовал его там, сзади, совсем близко. От Шульги не пахло ничем: ни табаком, ни потом, ни соляркой, ни баней, ничем из того, чем пахли все на станции. Глеб вспомнил, как в первую ночь стоял на крыльце и думал, что на Востоке нет запахов, что пахнет только то, что принесли люди.

Он поднял голову.

Занавеска была задёрнута не до конца. Между её краем и рамой оставалась щель, ладони в две, и в этой щели было чёрное стекло. Лампа горела под потолком, прямо над ними, и стекло в щели было глубокое, как вода в проруби.

В стекле был Глеб. Сидел за столом, с листком в руке, с наушниками на шее, и смотрел на себя. А за его плечом в стекле стоял Шульга.

Шульга поднял руку, ту самую, правую, и положил её Глебу на плечо. Легко, по-товарищески. Глеб почувствовал вес ладони на плече. Тёплый, мягкий вес.

В стекле рука Шульги ещё висела в воздухе.

Она поднималась. Медленно, плавно, отставая. Глеб уже чувствовал ладонь, лежащую у него на плече, а Шульга в чёрном стекле только поднимал руку, только тянул её вперёд. Полсекунды. Меньше. Потом рука в стекле легла на плечо Глеба в стекле, догнала, совпала, и всё стало как надо.

Полсекунды.

Глеб сидел и не двигался. Он знал эту задержку. Он слышал её сто раз в наушниках: когда работаешь с далёкой станцией через полмира, сигнал уходит в ионосферу, отражается, идёт обратно, и твой собственный голос возвращается к тебе эхом, с опозданием. Чем дальше станция, тем больше опоздание. Так бывает с сигналом, который идёт очень издалека.

— Ну, бывай, Глеб, — сказал Шульга за спиной.

Ладонь ушла с плеча. Глеб смотрел на листок у себя в руке, на ровные круглые буквы. Дверь закрылась.

Он сидел ещё долго. Потом протянул руку и задёрнул занавеску до конца, плотно, чтобы не осталось ни щели.

Глава пятая. Голос

Радиожурнал станции Восток. 07.05.83. 09:00 мск. Т −74,0. Ветер штиль. Срок 06:00 сорван по вине дежурного радиста. Сводка передана в 07:40 начальником станции. Деж. Рогов.

Первого мая Лапин всё-таки сказал свою речь.

Он готовился к ней неделю. Глеб видел, как он сидел в кают-компании над общей тетрадью в клеёнке, писал, зачёркивал, шевелил губами. Рогов в этот раз его не остановил. Первомай есть Первомай, даже если до Москвы пятнадцать тысяч километров, а на улице ночь и минус шестьдесят восемь.

Демонстрацию тоже устроили. Вышли все тринадцать, в каэшках, с фонарями, и прошли круг вокруг столба-указателя гуськом, проваливаясь в снег. Впереди шёл Лапин с флагом на лыжной палке. Флаг на морозе не развевался, висел колом, твёрдый, как фанера, и Лапин держал палку обеими руками, торжественно, будто на Красной площади. За ним Рогов. За Роговым все остальные. Рябов в конце колонны громко, задыхаясь, пел «Утро красит нежным светом», и никто ему не подпевал, потому что петь на такой высоте было нечем.

Глеб шёл в середине и смотрел на фонари. Тринадцать жёлтых пятен в темноте, кругом, вокруг столба. Сверху, наверное, это было похоже на часы.

Шульга шёл перед ним, и весь круг Глеб видел только его спину. Шульга шёл легко, не проваливаясь. Снег под ним скрипел так же, как под всеми, но шаг у него был длиннее и спокойнее, чем у людей, которым не хватает воздуха. Пар над его головой не поднимался. Над остальными поднимался, густой, белый, подсвеченный фонарями, и вся колонна шла в облаке собственного дыхания, как паровоз. Над Шульгой было чисто.

Никто этого не замечал. Или замечал и молчал. Глеб не знал, что из этого хуже.

Вечером был праздничный ужин. Дорн напёк пирогов с капустой и с повидлом, открыл банку красной икры из НЗ, и Рогов разрешил по сто граммов, официально, из медчасти, под запись. Лапин встал, постучал вилкой по стакану и прочёл речь. Про международную солидарность трудящихся, про вклад советской науки, про то, что даже здесь, на полюсе холода, они не одни, с ними вся страна. Читал по тетради, сбиваясь, потому что на третьем абзаце у него кончилось дыхание и он стал читать по две строчки на вдох.

Глеб выпил свои сто граммов и больше не просил. Это далось ему легко. Он даже удивился, как легко.

Мелконян посмотрел на него через стол и кивнул.

* * *

Медосмотр Мелконян проводил второго мая, как и каждый месяц.

Приходили по одному, по списку. Раздевались до пояса в медпункте, где на окне висело одеяло и было жарко от электрической печки. Мелконян слушал, мерил давление, считал пульс, заглядывал в горло, щупал печень. Взвешивал на медицинских весах с гирьками, которые привезли на Восток в год основания и которые с тех пор врали на полкило в одну сторону. Записывал всё в карточки, мелким врачебным почерком.

Глеб пришёл одиннадцатым.

Мелконян послушал ему спину, долго, в нескольких местах, прикладывая холодный кружок стетоскопа. Потом сердце. Потом надел манжету и накачал.

— Сто сорок на девяносто, — сказал он. — Высоко.

— Высота.

— У всех высота. — Мелконян снял манжету. — Ложись.

Он нажал Глебу пальцами под рёбрами справа, глубоко, неприятно. Помял. Подержал. Глеб смотрел в потолок.

— Печень на палец из-под рёбер, — сказал Мелконян. — В феврале была на полпальца.

— Это плохо?

— Это печень. — Мелконян сел за стол и начал писать в карточку. — Она тебе одна дана, Глеб. Как радист. Второй до ноября никто не пришлёт.

Он писал. Глеб одевался. В медпункте пахло «Беломором», спиртом и йодом, и Глеб старался дышать ртом.

— Я по два глотка, Арсен Ваганыч, по вечерам, и всё, — сказал он. — Вы знаете.

— Знаю. Вижу. — Мелконян не поднял головы. — Молодец. Ещё бы прошлый месяц не пил, как скотина, был бы совсем молодец.

Он дописал. Отложил ручку. Взял со стола другую карточку, верхнюю в стопке, и подержал её в руке, не открывая.

— Посиди, — сказал он. — Минуту.

Глеб сел на кушетку.

Мелконян встал, подошёл к двери, выглянул в коридор. Закрыл дверь плотнее. Вернулся и сел напротив Глеба, близко, колени к коленям, с карточкой на коленях.

— Ты на крыльце тогда смотрел, — сказал он тихо. — Двадцать восьмого. После завтрака. Я видел, ты смотрел на Шульгу. Ты что там увидел?

Глеб молчал.

— Я врач, — сказал Мелконян. — Мне надо знать. Что ты увидел?

— Пар, — сказал Глеб. — У него не было пара.

Мелконян закрыл глаза. Открыл.

— Я тоже видел, — сказал он. — Я думал, мне показалось.

Он открыл карточку. Глеб увидел фамилию на обложке: Шульга В. С.

— Он был у меня первым, — сказал Мелконян. — Сегодня утром. Я его первым вызвал, специально. — Он провёл пальцем по строчкам. — Давление сто двадцать на восемьдесят. Пульс шестьдесят два. Дыхание везикулярное, чистое. Кислород в крови я тут мерить не могу, но цвет губ, ногтевые ложа… Как у курортника. Как у человека, который живёт в Сочи и ходит на пляж.

— Это плохо?

— Это невозможно. — Мелконян посмотрел на него. — Глеб, мы три месяца на трёх с половиной тысячах. У меня у всех давление скачет. У всех пульс под сотню в покое. Я сам ночью просыпаюсь и задыхаюсь. А у Шульги давление, как в учебнике. У человека, который на днях четыре часа ходил по морозу в минус семьдесят два.

Он перевернул страницу.

— Пальцы. Ты видел пальцы.

— Видел.

— Я их сегодня смотрел. Все пять гнутся. Кожа целая. На месте раны, где у него трос до кости мясо содрал, ничего. Розовая гладкая кожа. Как у ребёнка. — Мелконян выговаривал каждое слово отдельно. — Старые обморожения на месте, белые пятна на костяшках, как были. А свежего ничего. Будто он её просто во сне отлежал.

Глеб сидел и смотрел на карточку.

— Что это, Арсен Ваганыч?

— Я не знаю. — Мелконян закрыл карточку. — Я врач. Я в чертовщину не верю. Есть какое-то объяснение. Должно быть. Регенерация, может быть, какая-то. Гормоны. Я не знаю. — Он помолчал. — Я буду смотреть. Каждый день. Я тебе ничего не говорил. И Рогову пока не говори.

— Почему не Рогову?

Мелконян встал. Подошёл к окну, к одеялу, поправил угол.

— Потому что Рогов знает больше, чем говорит, — сказал он, не оборачиваясь. — Я его десять лет знаю, Глеб. Мы вместе на Новолазаревской зимовали. Он всегда был такой: если чего-то не говорит, значит, ему велели. А когда ему велели, он делает, как велели. До конца.

* * *

В пятницу, шестого, на имя Шульги пришла радиограмма.

Глеб принял её на служебном сроке, вне пятничной очереди: Мирный передал её отдельно, с пометкой «срочная частная». Он записывал знаки и понимал слова только потом, когда всё было уже на бланке.

«Валерочка сынок слава богу живой тчк неделю не спала тчк сон видела нехороший тчк береги руки тчк мама».

Глеб сидел над бланком. Неделю не спала. Сон нехороший. Радиограмма «Нормально» ушла с Востока двадцать девятого. Шла через Мирный, через Москву, через Читу, через какую-то районную почту, где её отнесли пешком в посёлок, на улицу, в дом, номер которого Глеб помнил, потому что сам его передавал. И там женщина, которая неделю не спала, прочла «нормально» и заплакала, наверное, и пошла на почту, и потратила деньги на срочную.

Береги руки.

Он сложил бланк вдвое. Надо было отнести. Так полагалось: частные радиограммы радист относил адресату лично, в руки.

Он нашёл Шульгу в кают-компании. Шульга сидел за столом один, перед шахматной доской, и расставлял фигуры, без всякой игры. Брал фигуру, смотрел на неё, ставил на место. Брал следующую.

— Тебе, — сказал Глеб. — Из дома.

Шульга поднял голову. Взял бланк. Развернул. Прочёл.

Глеб стоял и смотрел ему в лицо. Он не знал, чего ждал. Что Шульга заплачет. Или улыбнётся. Или ничего не покажет, как раньше, когда был собой, молчуном с обмороженными руками.

Шульга читал долго. Дольше, чем нужно, чтобы прочесть полтора десятка слов. Поднял глаза на Глеба.

— Мама, — сказал он.

Так повторяют за учителем незнакомое слово, чтобы запомнить, как оно звучит. Губы сложились правильно, звук вышел правильный, а за ним ничего не было.

— Мама, — повторил Шульга, уже ровнее, будто пробовал ещё раз и остался доволен.

Он сложил бланк, аккуратно, ровно по сгибу, и положил в нагрудный карман. Снова взял с доски белого коня и стал на него смотреть.

Глеб вышел. В коридоре он остановился и прислонился к стене. Стена была холодная. Он стоял, пока не перестали дрожать колени.

* * *

Той ночью он не крутил верньер.

Он помнил, что сказал Тимофеич. Он сидел в рубке после последнего срока, в наушниках, и слушал пустую частоту, ту же, что в прошлый раз, где был только шум. Шум его успокаивал. Шум был как море, как дождь по крыше на Седьмой линии, когда они с Лидой лежали и слушали, и она говорила, что дождь — это когда небо разговаривает само с собой.

Он слушал шум и думал о матери Шульги.

В половине третьего шум изменился.

Он стал тише и отодвинулся, как отодвигается толпа, чтобы пропустить кого-то. И в образовавшейся тишине, далеко, на самой границе слышимости, кто-то заговорил.

Женский голос.

Глеб замер. Он не двигал верньер. Частота была пустая, он знал её наизусть, на ней никогда никого не было. Голос шёл оттуда, из пустоты, тихий, с теми помехами, которые бывают у очень далёкой станции.

— …третий день дождь, Глебушка. Я купила тебе шарф. Серый, как ты любишь. Повешу в прихожей, чтобы ты сразу увидел, когда придёшь…

Глеб перестал дышать.

Он знал эти слова. Он знал их наизусть. Это было письмо, которое Лида отдала ему в позапрошлом октябре, на причале в Ленинграде, перед первой зимовкой, когда у них всё ещё было хорошо. Велела открыть только в море. Письмо было в конверте, на четырёх тетрадных страницах, и он перечитывал его столько раз, что страницы протёрлись на сгибах. Он помнил его слово в слово. Серый шарф. Прихожая. Третий день дождь.

Голос был её. Низкий, чуть хрипловатый на гласных, с ленинградским «ч», с этой её манерой тянуть последнее слово во фразе, как будто ей жалко его отпускать.

— …ты, наверное, не ешь ничего, я знаю. Ты поел, Глебушка? Я всегда тебя спрашиваю, а ты злишься. А я всё равно спрошу…

Он сжал наушники ладонями, прижал к голове.

— Лида, — сказал он вслух. В пустой рубке, в микрофон, который был выключен. — Лида.

Голос не слышал. Голос шёл дальше. Строчки из письма, одна за другой, в том порядке, в каком они были написаны. Он помнил каждую. Он мог говорить вместе с ней. Он и говорил, шевеля губами, беззвучно, и голос в наушниках совпадал с ним до слова.

Потом письмо кончилось. Глеб знал, что дальше. Дальше была подпись: «Целую. Твоя Л.».

Голос не сказал подписи.

Голос выждал. Шум вокруг него поднялся и опал, как волна, и голос сказал, тем же тоном, тем же низким, хрипловатым:

— Приходи домой, Глебушка. Тут тепло.

Этого в письме не было.

— Тут тепло, — повторил голос. — Тут все свои. Приходи.

Глеб сорвал наушники.

Он сидел, тяжело дыша, и смотрел на них, лежащих на столе. Из наушников, тонко, едва слышно, ещё шло что-то. Он не стал слушать. Он выключил приёмник. Наушники замолчали.

Тишина. Гул ДЭС за стеной. Часы.

Он открыл нижний ящик.

* * *

Проснулся он от того, что его трясли за плечо.

Сначала был только звук: стук, громкий, тяжёлый, сухой, прямо в голове. Потом он понял, что стук снаружи. Потом открыл глаза. Он лежал на полу, у стола, щекой на холодных досках. Рядом был Рогов, а за Роговым, в дверях, Костя, бледный, в одном свитере.

Стучал ключ. Глеб повернул голову и увидел: Рогов сидел за его столом, одной рукой держал Глеба за плечо, а другой работал ключом. Неуверенно, с остановками: азбуку Рогов знал, но давно не практиковался. Рядом на столе лежал бланк сводки, Костин, метеорологический, исписанный крупным почерком.

Фляжка лежала на полу, у Глеба перед носом. Открытая. Пустая.

— Который час? — спросил Глеб. Голос был как наждак.

— Семь сорок, — сказал Рогов, не отрываясь от ключа. — Срок был в шесть.

Глеб попробовал сесть. Голова поплыла, и его затошнило. Он схватился за ножку стола.

— Мирный вызывал тебя час сорок, — сказал Рогов. Он стучал и говорил одновременно, по слову. — Сомов твой звал. Костя прибежал ко мне с бланком, говорит, рубка заперта изнутри, радист не отвечает.

— Я не запирал.

— Запирал. — Рогов закончил группу и отпустил ключ. Мирный отстучал квитанцию. Рогов снял наушники, положил их и только теперь повернулся к Глебу. — Я дверь ломиком открыл.

Глеб сидел на полу и смотрел на него снизу вверх. Рогов смотрел на него сверху вниз, и в лице у него была одна усталость. От неё Глебу стало хуже, чем от крика.

— Костя, иди, — сказал Рогов. — Спасибо.

Костя ушёл, не глядя на Глеба. Глеб видел его спину в дверях. Спина была узкая, мальчишеская, и плечи под свитером были подняты, будто от холода.

Рогов наклонился, поднял фляжку. Завинтил. Сунул в карман.

— Это я забираю, — сказал он. — И контакты теперь протирать будешь при Мелконяне.

Он взял журнал, открыл, взял ручку. Глеб смотрел, как он пишет. Крупно, прямо, учительским почерком. «Срок 06:00 сорван по вине дежурного радиста. Сводка передана в 07:40 начальником станции». И подпись, и после подписи слово «Деж.» и своя фамилия.

— Я тебя просил, — сказал Рогов, не поднимая головы. — Помнишь, в первый вечер. Что мне радист нужен живой. Если ты молчишь, у меня станция немая. Тринадцать человек на краю света, и никто про них не знает.

— Помню.

— Сегодня час сорок никто про нас не знал. — Рогов закрыл журнал. — Час сорок, Глеб. А если бы что-то случилось? Пожар? Кто бы позвал?

Глеб ничего не ответил. Говорить было нечего.

Рогов встал. Постоял над ним.

— Что ты слушал? — спросил он вдруг. — Ночью. Приёмник был выключен, а наушники на столе. Ты ведь что-то слушал. Перед тем как начать.

Глеб поднял на него глаза.

— Голос, — сказал он. — Женский.

Рогов смотрел на него долго. Потом кивнул.

— Не слушай больше, — сказал он. Почти то же, что сказал Тимофеич. — Там нет ничего, что тебе нужно.

Он ушёл. Глеб остался сидеть на полу.

* * *

Весь день его мутило. Он отработал дневные сроки, сосредоточенно, проверяя каждую группу по два раза, и Мирный ни разу не попросил повторить. Юрка Сомов в конце служебного отстучал «Глеб ты как». Глеб ответил «нормально». Потом посмотрел на это слово на бланке и долго не мог отвести от него глаз.

После обеда пришёл Костя с метеосводкой. Положил бланк на край стола, молча, и повернулся уходить.

— Костя.

Костя остановился в дверях, не оборачиваясь.

— Спасибо, что сбегал, — сказал Глеб. — К Рогову.

Костя постоял. Потом повернулся. Лицо у него было красное, как всегда, когда он волновался, и губы сжаты.

— Я думал, вы умерли, — сказал он. — Я дверь дёргаю, а она не открывается. А в щель видно, вы на полу лежите. Лицом вниз. И не шевелитесь. — Он сглотнул. — Я думал, всё. Как с Шульгой. Что вы тоже.

— Я живой.

— Я вижу. — Костя шмыгнул носом. — Вы больше так не делайте, Глеб Николаевич. Пожалуйста. А то я Тане про вас написал, что вы хороший. А получается, я ей наврал.

Глеб ничего не ответил. Он смотрел на Костю и думал, что за всю его жизнь ему никто ни разу не говорил ничего такого, от чего было бы так стыдно.

— Садись, — сказал он наконец. — Морзянку забыл, наверно.

— Не забыл.

— Покажи.

Костя сел. Положил пальцы на ключ, выключенный, и отстучал. Тире. Точка тире. Тире точка. Точка тире точка тире. Чисто, почти без запинки. Видно было, что тренировался, на коленке, на столе, на чём попало.

— Ну вот, — сказал Глеб. — А говорил, глупо.

Костя улыбнулся, впервые за день, и улыбка вышла кривая, мокрая.

К вечеру стало легче. К вечеру тошнота отпустила, осталась только тяжесть в затылке и тупая, ватная пустота внутри, как бывает после большой пьянки. Голова была медленная. Мысли шли по одной, с остановками.

За ужином он сел напротив Шульги. Специально. И посмотрел в окно.

Окно в столовой не было завешено. Дорн заклеил газетой только своё, на камбузе. А в столовой большое окно стояло чёрное, и в нём отражался весь стол, тринадцать человек, лампы, тарелки, пар над кастрюлей.

Глеб нашёл в стекле Шульгу. Шульга ел. Поднёс ложку ко рту. Отражение поднесло ложку ко рту. Одновременно. Глеб смотрел и ждал. Шульга повернул голову к Тимофеичу, сказал что-то. Отражение повернуло голову. Одновременно. Отражение шло секунда в секунду. Обычный человек в обычном чёрном стекле.

Глеб смотрел минуту. Две. Ничего.

И ему стало хорошо.

Это пришло само, тепло и мягко, откуда-то из живота. Ничего нет. Ничего не было. Тогда, в рубке, был недосып, высота, полярная ночь, о которой пишут в книжках. Глаза устали. Стекло старое, кривое, с волной, такие стёкла всегда врут. А сейчас он видит ясно, и всё в порядке. Шульга как Шульга. Человек ест кашу.

Он сидел и улыбался, и сам этого не замечал. И только потом, когда Дорн подошёл забирать тарелки и спросил «Поел?», и Глеб поднял голову и ответил «поел», он понял, что голова у него до сих пор медленная и ватная, и мир вокруг чуть размыт по краям, как на фотографии, которую сняли с длинной выдержкой.

В трезвую голову он видел полсекунды. А сейчас не видел.

Глеб сидел и держал эту мысль, как держат горячую кружку, не зная, куда поставить. Если пить, то ничего не видно. Если ничего не видно, то ничего и нет. Можно жить. Можно дожить до ноября. Мысль была мягкая, удобная, и от неё было тепло, как от спирта.

Он испугался её больше, чем голоса.

* * *

Девятого мая на станции опять был праздничный ужин, второй за месяц, и опять пироги, и опять Рогов разрешил по сто граммов. Глебу не налили. Он и не просил. Рогов посмотрел на него, когда разливал, и пропустил его стакан, и никто ничего не сказал, и Глеб был им всем за это благодарен.

Гусев рассказывал про войну. У него отец дошёл до Праги, и Гусев рассказывал отцовские истории, которые все за столом уже слышали, но слушали снова, потому что был такой день. Потом Рябов встал со стаканом.

Рябов четыре дня назад ездил к старой вышке на тягаче, возил солярку для генератора, вместе с Шульгой, и вернулся поздно вечером, и на следующий день отсыпался до обеда. Глеб

это помнил, потому что сам принимал по «Недре» их «доехали» и «выехали обратно». Вечером того дня Рябов был тихий. Говорил, что надышался выхлопом в кабине.

Сейчас он стоял со стаканом и улыбался.

— Товарищи, — сказал он. — Тост. За то, что на Востоке воздуха мало, а смех кислорода не требует.

Кто-то хмыкнул. Это была его старая присказка, все её слышали.

— И ещё, — сказал Рябов и повернулся к Гусеву. — Гусев у вас дизелист. А пожарником тут будет каждый, кто хочет до ноября дожить.

Он сказал это голосом Гусева, точным, как на магнитофонной плёнке. С той же хрипотцой, с тем же нажимом на «каждый», с тем же коротким выдохом в конце. Как Гусев сказал это за ужином в феврале, в первый вечер. Слово в слово.

За столом стало тихо.

Гусев смотрел на Рябова с открытым ртом. Засмеялся, неуверенно.

— Ну Сашка, — сказал он. — Ну артист. Это ж я говорил. Ещё в феврале.

— Ты, — согласился Рябов, улыбаясь. — А я запомнил.

Он выпил свои сто граммов и сел. Все снова заговорили, и снова засмеялись, и Рябова кто-то хлопнул по плечу: ну даёшь, Сашка, в театр тебе надо. Рябов улыбался и кивал.

Глеб перевёл глаза на Мелконяна. Мелконян тоже смотрел на Рябова, и в руке у него была вилка, и он её не опускал.

* * *

Мелконян пришёл в рубку в третьем часу ночи.

Глеб не спал. Он не спал теперь совсем, без фляжки, просто сидел и смотрел на часы, и думал о том, что фляжка у Рогова в кармане, и о том, что в медпункте, в шкафу, стоит банка медицинского, и о том, что он туда не пойдёт.

Мелконян вошёл без стука. Прикрыл дверь и прислонился к ней спиной. В руках у него была карточка Шульги и стетоскоп.

— Я сейчас от него, — сказал он. — От Шульги.

Глеб ждал.

— Он спит у себя. Один в комнате, сосед на вахте в ДЭС. Я вошёл. Он не проснулся. — Мелконян говорил очень тихо, как у постели больного. — Я хотел посмотреть, как он спит. Когда человек спит, он не может притворяться. Ни давлением, ни пульсом, ничем. Тело само показывает, какое оно.

Он открыл карточку. Под утренней записью, сделанной второго мая, была новая. Время и цифры. Почерк у Мелконяна был мелкий, торопливый, а последняя цифра вышла совсем кривой, будто рука дрогнула.

— Второго мая у него было шестьдесят два, — сказал Мелконян. — Как в учебнике. Когда он сидел передо мной и знал, что я считаю.

Он посмотрел на Глеба.

— А сейчас двадцать.

— Двадцать? — Глеб не понял. — Это же…

— Так не бывает, — сказал Мелконян. — При двадцати человек без сознания. Синий. При двадцати мозг умирает. А он спит, тёплый, розовый, дышит ровно. И сердце у него бьётся двадцать раз в минуту. Я слушал пять минут, Глеб. Стетоскопом. Я считал.

Он помолчал.

— И знаешь, что самое странное? Ритм. Цифра — это ещё полбеды. У живого сердца всегда есть разброс. Чуть быстрее, чуть медленнее, на вдохе, на выдохе. А у него нет. Двадцать ударов, ровно, как по линейке.

Глеб поднял голову и посмотрел на часы над столом. На секундную стрелку.

Двадцать ударов в минуту.

Он сосчитал это в голове, хотя и так уже знал ответ. Шестьдесят секунд. Двадцать ударов.

— Каждые три секунды, — сказал он.

Мелконян посмотрел на него, не понимая.

— Да, — сказал он. — Каждые три. Как метроном.

Секундная стрелка на часах дошла до двенадцати и прошла ещё три деления. Глеб смотрел на неё и слышал, как тикают часы, и как гудит ДЭС за стеной, и как где-то за двумя стенами, в маленькой тёплой комнате, спит человек, у которого сердце бьётся ровно в такт тому, что Глеб ловил в эфире с первой ночи.

Глава шестая. Медкарта

Радиожурнал станции Восток. 19.05.83. 09:00 мск. Т −76,2. Ветер штиль. 01:10–03:40 тягач (вод. Рябов) на буровой №2, доставка топлива. Происшествий нет. Деж. Ракитин.

Мелконян завёл тетрадь.

Обычную, школьную, в клетку, за две копейки, из тех, что лежали на складе пачками на случай, если кто-нибудь захочет вести дневник. На обложке он написал «Гемоглобин. Динамика» и держал её в медпункте, в ящике стола, под стопкой медкарт. Гемоглобин был только на обложке. Внутри были две колонки, расчерченные по линейке: «Ш.» и «Р.». И под ними, по дням, мелким врачебным почерком, наклонным, торопливым, который Глеб разбирал с трудом: «пар — нет», «пульс во сне — 20», «ест — да, много», «курит — да, затяжки без кашля», «стекло — ?».

«Стекло» было Глебово. Это он должен был смотреть.

Он смотрел. Он теперь не пил, совсем, ни глотка, вторую неделю, и мир от этого стал резким, как фотография, которую перевели из размытой в чёткую. Слишком резким. Лампы в коридорах резали глаза. ДЭС гудела так, что отдавалось в зубах. Ночами он лежал на топчане мокрый, хотя в рубке было не жарко, и сердце колотилось, и простыня липла к спине, и снилось что-то, чего он утром не помнил, только знал, что там была вода. Руки дрожали теперь всё время, мелко, как стрелка прибора, когда рядом работает мотор. Ключ под пальцами ходил неровно, и Глеб переписывал каждую сводку на бумагу дважды, прежде чем передать, и всё равно Юрка Сомов два раза просил повторить.

Мелконян давал ему таблетки. Белые, маленькие, по одной на ночь.

— Это чтобы ты спал, — сказал он. — И чтобы руки. Две недели потерпи. Потом легче.

— А потом?

— А потом ты будешь видеть. — Мелконян посмотрел на него поверх очков. — Ты мне трезвый нужен, Глеб. Ты единственный, кто это видит в стекле. Я в стекле ничего не вижу. Я смотрел. У меня глаза не те. Возраст, может быть. Или я слишком хочу увидеть, и от этого не вижу.

Он закурил. Мелконян курил много, всегда, «Беломор», одну за другой, сминая мундштук пальцами крест-накрест, как курили в войну. На Востоке курить было тяжело, на такой высоте после трёх затяжек начинала кружиться голова, и многие бросили в первый же месяц. Мелконян не бросил. Он кашлял, долго, мокро, сгибаясь, вытирал глаза и закуривал следующую. Пепельница у него на столе была из консервной банки из-под тушёнки, с отогнутой крышкой, и она всегда была полна до краёв. Окурки торчали из неё, как опята из пня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.